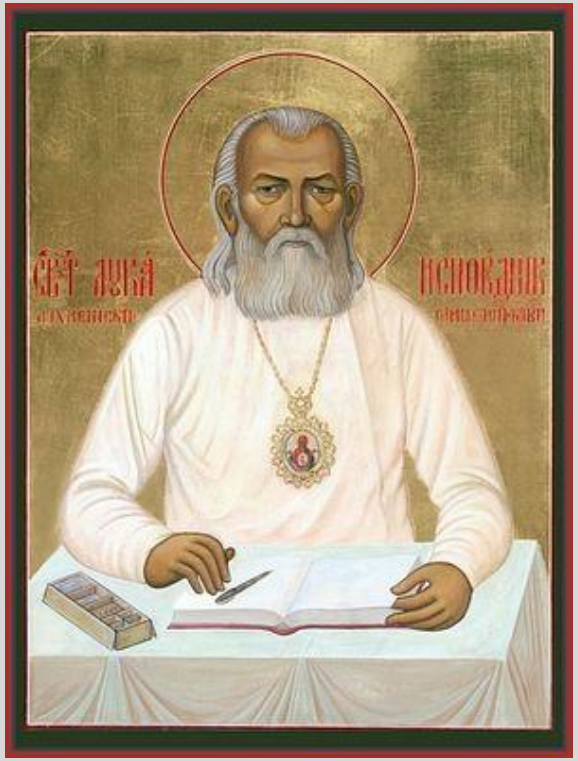
**«Тело, будучи сложено из многих, и притом неодинаковых частей,
которые и сами составлены из четырех стихий, когда занеможет,
имеет нужду в разных врачевствах и притом составленных из разных трав.
А душа, напротив, будучи невещественна, проста и несложна,
когда занеможет, одно врачевство врачует ее —
Дух Святой, благодать Господа Иисуса Христа»**
(преп.Симеон Новый Богослов)

Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

«Я ПОЛЮБИЛ СТРАДАНИЕ...»



АВТОБИОГРАФИЯ АРХИЕПИСКОПА-ХИРУРГА
ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКИХ РЕПРЕССИЙ.
НАПИСАНА ПОЛНОСТЬЮ ОСЛЕПШИМ
АРХИЕПИСКОПОМ
В 1958 ГОДУ.

Юность

Работа в земских больницах

Священство

Первая ссылка

Перед второй ссылкой

Архангельская ссылка

Третий арест

ЮНОСТЬ

[«Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно, дворянин, православного вероисповедания, родился в 1877 году (14 апреля) в г.Керчи. Среднее образование получил в Кишиневской 2-й и Киевской 2-й гимназиях..», — говорилось в биографии к диссертации В.Ф.Войно-Ясенецкого «Регионарная анестезия», 1815 г.]

Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои — юристы — не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее, и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания я в семье не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности, участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой,

изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.

Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступать на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

В это время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую Лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в Лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст, и тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я

пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилась основное религиозное направление в моих занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду: на улицах и в трамваях, на площадях и базарах — я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвращении домой все это зарисовывал. На выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои наброски.

Для отдыха от этой работы я каждый день ходил версты за две по берегу Днепра, по дороге усиленно размышляя о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих размышлений моих, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки.

В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства.

Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой Святой Книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом.

Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» [Мф. 9; 37]. У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.

Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раздумье народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную практическую для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, и убеждал поступить на медицинский факультет.

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее, я учился на одни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анато-

мией. Изучал кости, рисовал и дома лепил их из глины, а своей препаровкой трупов сразу обратил на себя внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи единогласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через двадцать лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.

На третьем курсе я страстно увлекся изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так: перед одной лекцией я узнал, что один из товарищей по курсу — поляк ударил по щеке другого товарища — еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все примолкли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды. Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно избрали старостой.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уж многое забыл, что не относится прямо к моей специальности».

Только на экзамене по медицинской химии (теперь она называется биохимией) я получил тройку. На теоретическом экзамене я отвечал отлично, но надо было сделать

еще исследование мочи. Как это, к сожалению, было в обычае, служитель лаборатории за полученные от студентов деньги рассказал, что надо найти в первой колбе и пробирке, и я знал, что в моче, которую мне предложили исследовать, есть сахар. Однако благодаря маленькой ошибке троммеровская реакция у меня не вышла, и, когда профессор, не глядя на меня, спросил: «Ну, что вы там нашли?» — я мог бы сказать, что нашел сахар, но сказал, что троммеровская реакция сахара не обнаружила.

Эта единственная тройка не помешала мне получить диплом лекаря с отличием.

Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко открытыми глазами сказали: «Как, Вы будете земским врачом?! Ведь Вы ученый по призванию!» Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям.

[Великим бедствием в некоторых губерниях России была слепота. Русская деревня с ее грязью и нищетой издавна была очагом трахомы. Множество жертв болезни-ослепительницы просили на дорогах подаяния.

Собираясь стать земским врачом, Войно-Ясенецкий не забыл и об этом народном бедствии. Осенью 1903 года, сразу после выпускных экзаменов в Университете, он начал посещать в Киеве глазную клинику. Амбулаторного приема и операций в клинике ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе в дом. «Наша квартира, — вспоминает сестра Владыки Луки Виктория, — превратилась на какое-то время в глазной лазарет. Больные лежали в комнатах, как в палатах. Валентин лечил их, а мама кормила». Этот киевский опыт очень пригодился ему потом в земских больницах. В Ардатове и Любаже слава о глазных операциях, которые делал новый доктор, росла так стремительно, что хирург не успевал осматривать желающих оперироваться.]

РАБОТА В ЗЕМСКИХ БОЛЬНИЦАХ

Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед самым началом войны с Японией; и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле города Читы.

В нашем госпитале было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Я сразу же развил большую хирургическую работу, оперируя раненых, и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные ответственные операции на костях, суставах, на черепе. Результаты работы были вполне хорошими, несчастий не бывало. В работе мне много помогла недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток.

Я не был кадровым врачом и военной формы никогда не носил.

В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли святой сестрой. [Анна Васильевна Ланская.] Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства.

Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это было,

по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью.

Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ардатовское земство Симбирской губернии. Там мне пришлось заведовать городской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии. Однако через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ардатове ввиду ее невыносимой трудности.

Надо отметить, что в ардатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках, и уже там у меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на десять коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, и из других уездов Курской губернии и соседней, Орловской.

Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления.

В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия, ее научное обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществле-

ние регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой новых методов ее.

В Любаже мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же записал две мои первые статьи: «Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и другую — «Ретроградное ущемление при грыже кишечной петли».

Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил.

Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия [Трахеотомия — вскрытие трахеи и введение в ее просвет специальной трубки для восстановления дыхания.], сделанная в совершенно исключительных условиях. Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся в руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, немного ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее, я решил сделать трахеотомию и попросил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленутого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше, вместо

трахеотомической трубки я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже — по-видимому, в бронхе.

Земской управой я был переведен в уездную Фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне поработать. Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев [Редакция, стремясь по возможности сохранить подлинный текст воспоминаний, не всегда разделяет взгляды автора.]. И самым крайним из них был председатель земуправы Батезатул, задолго до войны прославившийся своим законопроектом о принудительной эмиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам.

Батезатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из вылеченных мной слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения, и под его предводительством толпа народа пошла громить земскую управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа. Это было в 1909 году.

В 1907 году в Любаже родился мой первенец — Миша. А в следующем, 1908 году родилась моя дочь Елена. Должность акушерки мне пришлось исполнять самому. Из Фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клиники профессора Дьяконова. По правилам этой клиники всё врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и мне предложена была тема «Туберкулез коленного сустава». Через две-три недели меня пригласил профессор

Дьяконов и спросил, как идет работа по диссертации. Я ответил, что уже прочел литературу, но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и, когда узнал, что у меня есть собственная моя тема, с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось, что он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив предложенную тему.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Рейн, председатель Московского хирургического общества. Но оказалось, что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском хирургическом обществе, и он вызвал большой интерес.

Но не на что мне было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми, и я должен был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии работать в больнице на двадцать пять коек, где развил большую хирургическую работу и напечатал отчет о ней отдельной книжкой по образцу отчетов клиники профессора Дьяконова.

[Романовка — громадное степное село на реке Хопер, с двумя храмами и с четырьмя кабаками. Что ни праздник — на широких романовских улицах начинались пьянки, драки, поножовщина. По рассказам старого медика Виктора

Федосьевича Елатомиева, работавшего в Романовской слободе вскоре после Войно-Ясенецкого, болезни там тоже приобретали огромный размах: бытовым сифилисом могло болеть целое село, «пневмония — так ее на расстоянии видно, флегмона — так полведра гноя». Два врача, три фельдшерицы и фельдшер, работая без передышки целыми сутками, едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходило по сто-сто пятьдесят человек. А после этого надо было ехать верхом или на телеге по деревням. Дел и там хватало, ведь на участке было двадцать сел и двенадцать хуторов, там на месте приходилось делать операции под наркозом, накладывать акушерские щипцы.

Вот что представляла собой земская больница в Романовке по «Обзору состояния земской медицины в Балашовском уезде за 1907—1910 и отчасти 1911 года»: «Романовский участок. Площадь 580 кв. верст. Население 30506 человек. Более 70% жителей расположено далее, чем за 8 верст от дома врача. Амбулатория — 31640 обращений в год. Участок в два раза превышает требования нормы по площади и в три раза по населению и количеству работы». Принимая за час 25—30 больных, можно было уделить каждому не более двух минут. Тут и осмотр и назначение. Приемы длятся по 5—7 часов в день. По подсчетам составителя «Обзора»: «...Только в 45 случаях из 100 можно поставить приблизительно точный диагноз, а 55 проходят мимо без диагноза. На долю одного врача нередко приходится принять до 200 человек... Помещение для амбулаторных приемов большей частью тесно и душно. В Балашовском участке, например, в одной комнате принимают три врача, двое из них — за одним столом. Тут же за ширмой гинекологические исследования, рядом в перевязочной делают разрезы, прививки детям, все это сопровождается криками, плачем. В ожидальнях давка и шум, бывают случаи обмороков от недостатка воздуха. О какомлибо выслушивании больного здесь не может быть и речи». В этой тесноте, духоте и шуме полтора года работал и Валентин Феликсович. Кроме врачебного приема и выездов, на нем была в больнице и вся хирургия. «Я делал в Романовке не менее 300 операций в год», — пишет он в Биографии 1945 года. «Обзор» подтверждает: в 1909 году хирург произвел 292 операции. В начале следующего года операционный темп возрос еще больше...]

Работу над регионарной анестезией я продолжал в Москве во время ежегодных месячных отпусков, работая с утра до вечера в Институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анатомии. Здесь я исследовал триста черепов и нашел очень ценный способ инъекции ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из форамен ротундум [Круглое отверстие (лат.).]. К концу этой ра-

боты я уже не был в Романовке, а состоял главным врачом и хирургом уездной больницы на пятьдесят коек в Переславле-Залесском.

[Переславльская больница мало чем отличалась от Романовской: ни электричества, ни рентгеновского аппарата, воду доставлял водовоз в бочке, а почти ежедневная чистка вонючей ямы, заменявшей канализацию, на несколько часов парализовывала жизнь лечебницы. Больница служила центром медицинской помощи для всего уезда, так что на приемы к врачу стекались в основном окрестные крестьяне.

В половине девятого утра больничный кучер Александр подавал к дому главного врача экипаж. ВойноЯсенецкие занимали довольно просторный деревянный дом помещицы Лилеевой на Троицкой улице, неподалеку от того места, где теперь шоссе Москва—Ярославль прорезает старинный земляной вал. Расстояние от дома до больницы не больше версты, но и это время у врача зря не пропадало. Он брал с собой в экипаж 15 — 20 карточек с немецкими и французскими словами и учил их по дороге.

Старший сын Владыки Луки Михаил Валентинович, вспоминая о том времени, рассказывал: «Отец работает днем, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в больницу рано. Обедаем вместе, но отец и тут остается молчаливым, чаще всего читает за столом книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не слишком многоречива».

Бывшая горничная, прослужившая у Войно-Ясенецких семь лет, Елизавета Никаноровна Кокина с большой любовью вспоминает о них: «Анна Васильевна была изо всего города самая интересная. Роста высокого, крепкая на вид, но уставала быстро. А как не устать? Обшить и накормить шестерых — не шутка. Это не то что теперь — пошел да купил в магазине все что тебе нужно.

Мужа любила без памяти. Ни в чем ему не перечила. Может, и были между ними какие нелады, но при детях и при прислуге — ни-ни. Барин был суровый. К делам домашним не прикасался. Лишнего слова никогда не говаривал. Если ему что за обедом не понравится — встанет и уйдет молчком. А уж Анна-то Васильевна в тарелку заглядывает: что там ему не по душе пришлось.

Завтракал барин один в восемь утра. Обедать приезжал в пять. После обеда немного отдыхал. Потом в кабинете больных принимал. После вечернего самовара уходил к себе в кабинет. Пишет там, читает, пока весь керосин в лампе не выгорит. Часто его ночью в больницу вызывали. Молча собирается, едет. Никогда не сердился, если вызывали...» «Он справедливый был», — несколько раз повторила Елизавета Никаноровна.

«Жили тихо. Раз в месяц приезжала знакомая игуменья из Федоровского монастыря, чайку попить. Большого ума была женщина. Да еще захаживал доктор Михневич с женой Софьей Михайловной. Они вместе в больнице работали.

С детьми, — продолжает Елизавета Никаноровна, — барин и барыня очень ласковы были. Никогда их не наказывали, даже слова грубого не говорили. Только Мишу за баловство мать в чулан иногда ставила. Да скоро и выпускала».

Михаил Валентинович не помнил про чулан, но ласковый доброжелательный тон, принятый в семье, глубоко запал в его память. «Мебель в Переславльском доме была до последней степени неказистая, — рассказывал он. — Сбережений ни тогда, ни потом отец не имел». Об этом говорит и Е.Н.Кокина: «Им, Ясенецким, форсить-то не из чего было. Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не бывало. Книг только ему по почте много шло. Книг было много. Ни в театры, ни в гости они не ездили, и к ним редко кто ходил...»]

Незадолго до нашего отъезда из Романовки родился мой сын Алеша, с большим приключением. Близилось время родов, но я рискнул ехать в Балашов на заседание Санитарного совета, надеясь скоро вернуться. Не дождавшись окончания заседания совета, я поспешил на станцию и увидел поезд, уже давший второй свисток. Не успев взять билета, я сел в вагон, но скоро увидел в нем много татар, чего не бывало в романовском поезде. Оказалось, что я попал не в свой, а в харьковский поезд и должен был с ближайшей станции вернуться в Балашов. Но Бог помог, и в Романовке я нашел уже новорожденного сына, которого принимала женщина-врач, раньше меня вернувшаяся с Санитарного совета и заехавшая сюда по дороге в свой врачебный участок.

В 1916 году, живя в Переславле, я защитил в Москве докторскую диссертацию о регионарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов, приват-доцент топографической анатомии и оперативной хирургии, фамилии которого не помню, и профессор Карузин.

Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там создается такая блестящая работа.

За свою диссертацию я получил от Варшавского университета крупную премию имени Хойнацкого в девятьсот рублей золотом, предназначавшуюся «за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине». Однако денег этих мне не пришлось получить, потому что книга была напечатана небольшим тиражом, только в семьсот пятьдесят экземпляров, и быстро распродана в книжных магазинах, куда я неосторожно разослал их, и я не мог представить в Варшавский университет требуемого количества экземпляров.

У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих Переславля.

Было еще одно великое событие в моей жизни, начало которому Господь положил в Переславле.

С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я из университета. Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге — «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу уже когда мы во чреве матери. Как увидите дальше, уже через несколько лет стала полной реальностью моя неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

В Переславле-Залесском мы прожили шесть с половиной лет. Там родился мой младший сын Валентин.

В городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях, желудке, селезенке и даже на головном мозге. Кроме того, я в 1915—1916 годах заведовал небольшим госпиталем для раненых.

В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь. Я говорил своей жене Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случи-

лось: сестра Ани прожила у нас всего недели две, и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки туберкулеза легких.

Это совпало с тем временем, когда я по объявлению в газете при очень большом конкурсе получил приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы. С нами ехала девушка-прислуга, недавно родившая ребенка. На полдороге от Переславля до Москвы пришлось остановиться на неделю в гостинице Троице-Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани. Поездка на поезде в Москву и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудными, так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение.

В Ташкенте у нас была отличная квартира главврача при больнице, пять комнат, в которых, однако, мне самому нередко приходилось мыть полы из-за неизбежного при революции расстройства жизни.

[С конца 1917 г. положение дел в Ташкенте стало резко ухудшаться. Дорожали продукты, базары были нищими, горничная Войно-Ясенецких простаивала в очередях с раннего утра до середины дня. Над больничным двором свистели пули. Стены корпусов, как оспой, покрылись пулевыми шрамами. Во время одной из таких перестрелок ранило в бедро операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую. В другой раз пуля просвистела у самого уха главврача.

Профессор-антрополог Лев Васильевич Ошанин, три года работавший врачом в Ташкентской больнице под руководством Войно-Ясенецкого, с глубоким уважением относившийся к Валентину Феликсовичу, вспоминает в своей рукописи «Очерки по истории медицинской общественности в Ташкенте»: «Время было тревожное. Нести суточные дежурства приходилось через двое-трое суток. В 1917—1920 годах в городе было темно. На улицах по ночам постоянно стреляли. Кто и зачем стрелял, мы не знали. Но раненых привозили в больницу. Я не хирург и, за исключением легких случаев, всегда вызывал Войно-Ясенецкого для решения вопроса, оставить ли больного под повязкой до утра или оперировать немедленно. В любой час ночи он немедленно одевался и шел по моему вызову. Иногда раненые поступали один за другим. Часто сразу же оперировались, так что ночь проходила без сна. Случалось, что Войно-Ясенецкого ночью вызывали на дом к больному, или в другую больницу на консультацию, или для неотлож-

ной операции. Он тотчас отправлялся в такие ночные, далеко не безопасные (так как грабежи были нередки) путешествия. Так же немедленно и безотказно шел Войно-Ясенецкий, когда его вызовешь в терапевтическое отделение на консультацию. Никогда не было на его лице выражения досады, недовольства, что его беспокоят по пустякам (с точки зрения опытного хирурга). Наоборот, чувствовалась полная готовность помочь.

Я ни разу не видел его гневным, вспылившим или просто раздраженным. Он всегда говорил спокойно, негромко, неторопливо, глуховатым голосом, никогда его не повышая. Это не значит, что он был равнодушен, — многое его возмущало, но он никогда не выходил из себя, а свое негодование выражал тем же спокойным голосом».

Здоровье Анны Васильевны ухудшалось, нервы были постоянно напряжены. К зиме стало совсем голодно. Анна кое-как ходила по дому, но ни готовить, ни убирать уже не могла. Дети помнят, как Валентин Феликсович вечером мыл полы, накручивая на половую щетку старые бинты. Стали приносить из больничной кухни обед — квашеная тухлая капуста плавала в мутной воде. Лечил Анну Васильевну доктор Моисей Слоним, лучший терапевт города, лечивший высокопоставленных лиц и имевший частный прием. Человек добрый, он пытался поддержать больную не только лекарствами, но и усиленным питанием: от своего стола посылал доктор довольно богатые по тем временам обеды. Но ни обеды Слонима, ни продукты, которые тайком от Войно-Ясенецкого посылала его жене семья хирурга Ротенберга, не приносили большой пользы. Анна раздавала пищу детям, а сама сидела на той же капустной похлебке, что и муж. Окончательно подорвал ее здоровье арест Валентина Феликсовича во время восстания Туркменского полка.]

В 1919 году в городе происходила междоусобная война между гарнизоном ташкентской крепости и полком туркменских солдат под предводительством изменившего революции военного комиссара.

[Военный комиссар Туркестанской республики К.Осипов в январе 1919 года попытался захватить в Ташкенте власть. Было ли это восстание направлено против большевистских крайностей, или Осипов просто замыслил назначить себя диктатором — неизвестно, но при подавлении восстания пострадало много ни в чем не повинных людей.]

Через весь город над самой больницей летели с обеих сторон во множестве пушечные снаряды, и под ними мне приходилось ходить в больницу.

Восстание Туркменского полка было подавлено, началась расправа с участниками контрреволюции. При этом и мне, и завхозу больницы пришлось пережить страшные часы. Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне, так как он был наказан начальником города после моей жалобы. Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над Туркменским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею: как я после узнал, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Огромное помещение было наполнено солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату и там в списке имен почти всем ставили кресты. В трибунале участвовал Андрей и другой служащий больницы, который успел предупредить других участников суда, что меня и завхоза по личной злобе арестовал Андрей. Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас провожали обратно в больницу, то встречавшиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских.

[Профессор Ошанин об аресте Войно-Ясенецкого рассказывал следующее:

«Главного врача арестовал вместе с его ближайшим учеником хирургом Р.А.Ротенбергом патруль из двух рабочих и двух матросов. Патрульных в хирургическое отделение привел служитель морга Андрей — пьяница и вор, которого Войно-Ясенецкий при всем своем долготерпении давно уже обещал выгнать с работы. Весть о том, что Валентина Феликсовича увели в железнодорожные мастерские, вызвала в больнице глубокое уныние. Мастерские имели страшную репутацию. Сама фраза «увести в железнодорожные мастерские» означала в те дни не что иное, как «расстрелять». Случилось все это рано утром, и до глубокой ночи никто о судьбе арестованных ничего не знал. Подробности сообщил вернувшийся в сопровождении двух вооруженных рабочих Ротенберг. В мастерских их посадили в каком-то довольно просторном помещении, где было много и других арестованных. Одна дверь вела в комнату, где заседала «чрезвычайная тройка». Дело решалось быстро. Обратно из судилища возвращались немногие.

Большинство осужденных (на разбор каждой судьбы «судьи» тратили не больше трех минут) уводили через другую дверь — приговор приводили в исполнение немедленно.

Два врача просидели перед роковой дверью больше полусуток. Все это время Войно-Ясенецкий оставался совершенно невозмутимым. На частые тревожные вопросы Ротенберга: «Почему нас не вызывают? Что это может означать?» Валентин Феликсович отвечал: «Вызовут, когда прийдет время, сидите спокойно». Поздно вечером через «зал смерти» проходил видный партиец, знавший главного врача в лицо. Он удивился, увидев тут знаменитого хирурга, расспросил, что произошло, и скрылся в комнате суда. Через десять минут врачам были вручены обратные пропуска в больницу. Партиец, который помог им, однако, не отпустил их одних. Обстановка в городе была слишком накалена: медиков мог застрелить любой встречный патруль, даже несмотря на печать «тройки».

Весть, что арестованные вернулись, быстро облетела больницу. В дежурную комнату стали сбегаться врачи и сестры, каждый хотел собственными глазами убедиться, что доктор жив. Войно-Ясенецкий предупредил, однако, что он просит не только не допускать никаких оваций, но и вообще никаких эмоциональных всплесков. К обычному утреннему часу назначенный на операцию больной был подготовлен, обработан и доставлен в операционную. Все были на местах. Минута в минуту хирург встал к операционному столу и принялся действовать скальпелем так, как будто ничего не случилось».]

Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была устроена ужасная человеческая бойня, были убиты солдаты Туркменского полка и многие горожане.

А моя бедная больная Аня знала, что меня арестовали, знала, куда увели, и пережила ужасные часы до моего возвращения. Это тяжелое душевное потрясение крайне вредно отразилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать. Настали и последние дни ее жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и очень мучилась. Последние двенадцать ночей я сидел у ее смертного одра, а днем работал в больнице. Настала последняя страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умиравшей, я впрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: «Впрысни еще». Через полчаса это повторилось

опять, и в течение двух-трех часов я много впрыснул ей шприцев морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия его не видел. Вдруг Аня быстро поднялась и села, довольно громко сказала: «Позови детей». Пришли дети, и всех их она перекрестила, но не целовала, вероятно, боясь заразить. Простившись с детьми, она легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже... Настал и последний вздох.

Гроб заранее был приготовлен. Утром пришли мои операционные служанки, обмыли и одели мертвое тело и уложили в гроб. Аня умерла тридцати восьми лет, в конце октября 1919 года, и я остался с четырьмя детьми, из которых старшему было двенадцать, а младшему — шесть лет.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал сто двенадцатый псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме: От восток солнца до запад [Пс.112;3], и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях [Пс.112;9].

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый, тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была бездетной.

[Муж Софии Сергеевны был царским офицером и погиб на фронте На снимке, где хирургическая сестра снята вместе с коллегами в операционной, мы видим худощавую женщину лет сорока. У нее живое лицо, полное доброжела-

тельства и участия. Настоящая сестра милосердия старой выучки. В операционной ее ценили за мастерство и скромность: ни слова лишнего, она сходу угадывала, какой инструмент потребует хирург в следующее мгновение...

София Сергеевна скончалась в доме Валентина Войно-Ясенецкого, младшего сына Владыки Луки, дожив до глубокой старости.]

Все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И однако слова: неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях, — я без сомнения принял как Божие указание возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника, и с глубоким волнением слушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены.

Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление заменить моим детям их умершую мать. София Сергеевна с радостью согласилась.

Она сказала, что ей очень больно было только издали смотреть, как мучилась моя жена, и очень хотелось помочь нам, но сама она не решалась предложить нам свою помощь. Она издали любила моих младших детей, но опасалась, что не сладит с Мишей, моим старшим сыном, потому что он обижает младших. Так и случилось. Троих младших детей она очень любила, и особенно самый младший, Валя, не слезал с ее колен. А Мишу пришлось ей перевоспитывать.

Моя квартира главврача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что София Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй мате-

рью для детей, ибо Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. На этом остановлюсь, а после расскажу о тех великих благодеяниях, которые получали мои дети от Бога через Софию Сергеевну.

СВЯЩЕНСТВО

Я скоро узнал, что в Ташкенте существует церковное братство, и пошел на одно из заседаний его.

[Прежде чем приступить к операции, будущий Владыка Лука всегда осенял себя крестным знамением и сосредоточенно молился, повернувшись к иконе Божией Матери, которая висела в операционной городской больницы много лет. Неверующие врачи перестали обращать на это внимание, а верующие считали делом самым обычным. В начале двадцатого года одна из ревизионных комиссий приказала убрать икону. В ответ на это Валентин Феликсович ушел из больницы и заявил, что вернется только после того, как икону вернут на место. По воспоминаниям проф. Л.В.Ошанина, комиссия высказалась в том смысле, что «операционная — учреждение государственное. У нас Церковь отделена от государства. Если вашему хирургу хочется молиться, пусть молится, никто ему не мешает, но пусть держит икону у себя дома». Войно-Ясенецкий повторил, что в операционную не вернется. Но в это время крупный партиец привез в больницу свою жену для неотложной операции. Женщина категорически заявила, что желает, чтобы ее оперировал Войно-Ясенецкий. «Его вызвали в приемную, — пишет проф.Ошанин. — Он подтвердил, что очень сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, не пойдет в операционную, пока икону не повесят обратно... Доставивший больную заявил, что дает «честное слово», что икона завтра же будет на месте, лишь бы врач немедленно оперировал больную. Войно-Ясенецкий немедленно пошел в хирургический корпус и оперировал женщину, которая в дальнейшем вполне поправилась. На следующее утро икона действительно висела в операционной».]

По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с довольно большой речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы.

Видный протоиерей Михаил Андреев, настоятель привокзальной церкви, в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых он сам или желающие из числа присутствовавших выступали с беседами на темы Священного Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы. Я, конечно, не знал, что они будут только началом моей огромной проповеднической работы в будущем.

Когда возникла недоброй памяти «живая» церковь, то, как известно, везде и всюду на епархиальных съездах духовенства и мирян обсуждалась деятельность епископов, и некоторых из них смещали с кафедр. Так, «суд» над епископом Ташкентским и Туркменским происходил в Ташкенте в большой певческой комнате, очень близко от кафедрального собора. На нем присутствовал и я, в качестве гостя, и по какому-то очень важному вопросу выступил с продолжительной, горячей речью.

Резких выступлений на съезде не было, и деятельность Преосвященного Иннокентия (Пустынского) получила положительную оценку. Когда кончился съезд и присутствовавшие расходились, я неожиданно столкнулся в дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Мы обошли два раза вокруг собора, Преосвященный говорил, что моя речь произвела большое впечатление, и неожиданно остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо быть священником!»

Как я уже говорил раньше, у меня никогда не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентиях принял как Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!»

Впрочем, позже я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велецкая, которую я, по явному, чудесному повелению Божию, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придал значения этому возражению, сказав, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди.

Уже в ближайшее воскресенье, при чтении часов, я в сопровождении двух диаконов, вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, певца и иподиакона, а во время Литургии — и в сан диакона.

Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже получившего высокую оценку профессора, произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе с одним профессором.

[Принятие священного сана о.Валентином приняли в штыки все его сотрудники. Молодые студентки дерзали делать замечания и «обличать» хирурга-священника. В ответ на это, как вспоминает проф. З.И.Умидова, он только снисходительно улыбался. В первый же день как о.Валентин пришел в больницу в рясе, его ученица А.И.Беньяминович заявила: «Я неверующая, и что бы вы там не выдумывали, я буду называть вас только по имени-отчеству. Никакого о.Валентина для меня не существует».]

Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг — защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во диакона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Я забыл раньше сказать о том, что в Ташкенте я был одним из инициаторов открытия университета. Большинство кафедр было замещено избранными из числа ташкентских докторов медицины, и только я один был почему-то избран в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии.

[Ташкентский Университет открылся осенью 1920 года. Став профессором, Валентин Феликсович должен был еще больше и напряженнее трудиться каждый день, он тщательно готовился к лекциям, не считаясь со своим отдыхом и покоем. В это время другие люди превращали жизнь горожан в бессмысленный невыносимый кошмар.

В Ташкенте свирепствовали малярия, холера, сыпной тиф. Голод на Волге гнал в Туркестан массы голодающих. Они вповалку лежали на вокзале: оборванные, покрытые вшами. Идя на кафедру, профессор встречал телеги, груженые голыми трупами. Их везли из переполненного свыше всякой меры сыпнотифозного отделения. Больные и трупы лежали даже возле больничных ворот. Перед нескончаемым потоком страдальцев у врачей опускались руки. Власти же продолжали начатую в семнадцатом году резню, которой не было видно конца.

По всему Туркестану разыскивали и вылавливали тех, кто имел какое-нибудь отношение к прежнему строю: крупных и мелких чиновников царской администрации, депутатов Городской думы, офицеров. Для «бывших» не было оправданий. Их расстреливали без суда. Генерала, который проявил полное презрение к своим гонителям, застрелили в тюремной камере... через дверной глазок. В газетах писали об этом как о событии обыденном.

Валентин Феликсович принял священный сан. Как вспоминает проф.Ошанин, о.Валентин «ходил по городу в рясе с крестом и тем очень нервировал ташкентское начальство. Был он к тому времени главным врачом городской больницы и общепризнанным у нас первым хирургом, Председателем Союза врачей. С крестом на груди читал лекции студентам в университете. Читал хорошо, студенты его любили, хотя и побаивались. Кроме операций и преподавания, много занимался Войно-Ясенецкий живописью: писал иконы для храма и анатомические таблицы для своих университетских занятий. Власти долго все это терпели, уговаривали его бросить церковные дела, но он не поддавался». В больнице же главный хирург благословлял больных перед операцией.

Те, кто считали Войно-Ясенецкого «погибшим для науки» были, вероятно, обескуражены, повстречавшись с о.Валентином на первом научном съезде врачей Туркестана в Ташкенте в 1922 году, где священник-хирург выступил с четырьмя большими докладами и десять раз брал слово в прениях, имея большой научный и практический опыт.

Многие врачи рассказывали, что о.Валентин всегда с большой любовью и глубоким вниманием относился к каждому больному человеку, что его отношение к больным «было идеальным».]

> Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете, слушать которые приходили во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время еще было возможно невозможное теперь. Я оставался и главным хирургом ташкентской городской больницы, потому служил в соборе только по воскресеньям.
>
> Преосвященный Иннокентий, редко проповедовавший, назначил меня четвертым священником собора и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: «Ваше дело не крестити, а благовестити» (1Кор.1;17.31).

[Летом 1921 года о.Валентину пришлось публично выступить в суде. Проф.Ошанин вспоминает: «В Ташкент из Бухары привезли как-то партию раненых красноармейцев. Во время пути им делали перевязки в санитарном поезде. Но время было летнее, и под повязками развились личинки мух... Раненых поместили в клинику профессора Ситковского. Рабочий день уже кончился, и врачи разошлись. Дежурный врач сделал две-три неотложные перевязки, а остальных раненых только подбинтовал и оставил для радикальной обработки до утра. Сразу же неизвестно откуда распространился слух, что врачи клиники занимаются вредительством, гноят раненых бойцов, у которых раны кишмя кишат червями».

Тогда во главе ЧК стоял латыш Петерс. Он имел в городе грозную репутацию человека неумолимо-жестокого и очень быстрого на вынесение приговоров с «высшей мерой». По его приказу тотчас были арестованы и заключены в тюрьму проф.П.П.Ситковский и все врачи его клиники. Были арестованы и два или три врача, служившие в Наркомздраве.

Петерс решил сделать суд показательным. Как и большинство латышей из ЧК, он скверно знал русский язык, но, несмотря на это, назначил себя общественным обвинителем. В этой роли произнес он не слишком грамотную, но зато

«громовую» обвинительную речь. Были в ней и «белые охвостья», и «контрреволюция», и «явное предательство». Над обвиняемыми нависла угроза расстрела.

«Других выступлений я не помню, — пишет проф.Ошанин, — кроме выступления профессора Войно-Ясенецкого, который был вызван в числе других экспертов-хирургов... Он сразу бесстрашно напал на грозного Петерса, он буквально громил Петерса как круглого невежду, который берется судить о вещах, в которых ничего не понимает, как бессовестного демагога, требующего высшей меры для совершенно честных и добросовестных людей». Проф.С.А.Масумов вспоминает о суде следующее: «Зал суда был полон. Больше всего тут было рабочих, но некоторое количество пропусков получили врачи города. По приказу Петерса профессора Ситковского из тюрьмы в зал суда доставила конная охрана. Профессор шел посредине улицы с заложенными за спину руками, а по сторонам цокали копытами конвойные с саблями наголо. Суд нужен был для «воспитательных» целей, чтобы лучше показать рабочему классу его врагов — прислужников мирового капитализма. Но великолепно задуманный и отрежиссированный спектакль пошел насмарку, когда председательствующий вызвал в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого.

— Поп и профессор Ясенецкий-Войно, — обратился к о.Валентину Петерс, — считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, которые обнаружены в его клинике?

Вопрос касался первого пункта обвинения. Заведующему клиники вменялся в вину развал дисциплины среди больных и обслуживающего персонала. Раненые, лежащие в клинике, пьянствовали, дрались, водили в палаты блудниц, а врачи и медсестры этому якобы потворствовали.

— Гражданин общественный обвинитель, — последовал ответ эксперта Войно-Ясенецкого, — я прошу по тому же делу арестовать и меня. Ибо и в моей клинике царит такой же беспорядок, что и у профессора Ситковского.

— А вы не спешите, прийдет время и вас арестуем! — заорал Петерс.

В хирургических клиниках города, на самом деле творились страшные безобразия. Большинство раненых, лежавших в клиниках профессоров Ситковского, ВойноЯсенецкого и Боровского были красноармейцы. В огромных, превращенных в палаты маршировальных залах высшего кадетского корпуса разгулявшаяся на фронтах братва без просыпу пила самогон, курила махру, публично в палатах занималась развратом. Тут же рядом лежали тяжело раненые. Но на их мольбы о тишине и покое легко раненые не обращали никакого внимания. Однажды во время профессорского обхода ординатор Беньяминович доложила об очередной оргии в палате.

Валентин Феликсович приказал вызвать дебоширов к нему. Но едва он поднялся на второй этаж в свой кабинет, как снизу по лестнице целая орава пьяных красноармейцев полезла «бить попа». Доктор Беньяминович успела запе-

реться в операционной, а профессора избили. Били жестоко, пинали ногами и костылями. После этих побоев заведующий клиникой на несколько дней был прикован к постели. Сидящие в зале врачи хорошо знали эту историю, знали и о других бесчинствах красноармейцев в госпиталях. Беспорядок в клинике Ситковского, который расписывал в своей речи Петерс, никого не удивил: как и Войно-Ясенецкий, профессор Ситковский просто физически не мог справиться с буйными пациентами.

Второй вопрос общественного обвинителя касался случая с «червями». Войно-Ясенецкий обстоятельно объяснил суду, что никаких червей под повязками у красноармейцев не было, а были личинки мух. Хирурги не боятся таких случаев и не торопятся очистить раны от личинок, так как давно замечено, что личинки действуют на заживление ран благотворно. Английские медики даже применяли личинок в качестве своеобразных стимуляторов заживления. Опытный лектор, Валентин Феликсович так внятно и убедительно растолковал суть дела, что рабочая часть зала одобрительно загудела.

— Какие еще там личинки... Откуда вы все это знаете? — рассердился Петерс.

— Да будет известно гражданину общественному обвинителю, — с достоинством ответил Войно-Ясенецкий, — что я окончил не двухлетнюю советскую фельдшерскую школу, а медицинский факультет Университета святого Владимира в Киеве.

В зале аплодировали.

Последний ответ окончательно вывел из себя всесильного чекиста. Высокое положение представителя власти требовало, чтобы дерзкий эксперт был немедленно изничтожен, унижен, раздавлен.

— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете? — продолжал Петерс.

На самом деле святой Патриарх-исповедник Тихон узнав о том, что профессор Войно-Ясенецкий принял священный сан, благословил ему продолжать заниматься хирургией. Отец Валентин не стал ничего объяснять Петерсу, а ответил:

— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Все симпатии были теперь на стороне священника-хирурга. Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Следующий вопрос по расчетам Петерса должен был изменить настроение рабочей аудитории:

— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога?

— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил. (Колокольчик председателя потонул в долго не смолкавшем хохоте всего зала) .

«Дело врачей» с треском провалилось. Однако, чтобы спасти престиж Петерса, «судьи» приговорили профессора Ситковского и его сотрудников к шестнадцати годам тюремного заключения. Эта явная несправедливость вызвала ропот в городе. Тогда чекисты вообще отменили решение «суда». Через месяц врачей стали днем отпускать из камеры в клинику на работу, а через два месяца и вовсе выпустили из тюрьмы. По общему мнению, спасла их от расстрела речь священника-хирурга Войно-Ясенецкого.

Много недель спустя в городе узнали, что в тот вечер, когда привезли обожженных красноармейцев, процессор Ситковский и не мог придти в клинику: его жена пыталась отравиться, и он ее спас.

Месяцев через пять после суда над проф.Ситковским очередная ревизионная комиссия приказала снять икону в операционной Городской больницы. Отец Валентин заявил, что не выйдет на работу, пока икону не вернут на место. И ушел домой. В конце 1921 года такой «саботаж» карался как самое тяжелое политическое преступление. Отцу Валентину грозил арест. Его друг М.И.Слоним обратился к председателю Среднеазиатского бюро ЦК РКПб Рудзутаку с ходатайством, говоря, что если будет арестован выдающийся хирург, ученый и педагог Войно-Ясенецкий, то ущерб от этого понесет прежде всего рабоче-крестьянская республика, ее медицина и наука. Рудзутак милостиво обещал пока профессора не арестовывать, пусть врачи сами найдут выход.

Отец Валентин ничего не знал о ходатайстве Слонима. Он бастовал уже несколько дней. Засылаемые к нему в качестве «разведчиков» хирурги сообщали, что главный врач все время работает за письменным столом, что-то пишет, что-то читает. Уговаривать его было бесполезно. По воспоминаниям проф.Ошанина, делегация из двух или трех врачей была направлена к Туркестанскому архиепископу. Владыка пообещал поговорить с о.Валентином, и на следующий день Войно-Ясенецкий вышел на работу.

Но главный врач долго протестовал против изъятия иконы. Он не явился в научное врачебное общество, где стоял его доклад. Когда же на следующем заседании отец Валентин, как всегда в рясе, взошел на кафедру, чтобы произнести доклад, то сначала сделал следующее заявление: «Приношу обществу извинение за то, что я не читал доклад в назначенный для меня день. Но случилось это не по моей вине. Это случилось по вине нашего комиссара здравоохранения Гельфгота, в которого вселился бес. Он учинил кощунство над иконой». В зале воцарилась гробовая тишина. Комиссар Гельфгот присутствовал на заседании. Но он, очевидно, побоялся скандала. Председатель

научного Общества профессор М.А.Захарченко прошептал секретарю Общества доктору Л.В.Ошанину, чтобы тот ни в коем случае не заносил в протокол неуважительных слов о представителе власти.

Даже неверующие коллеги не могли не видеть высокой нравственности православного священника, будущего архиепископа. Бывшая медицинская сестра Ташкентской Городской больницы М.Г.Нежанская в семидесятых годах так говорила о нем: «В делах, требовавших нравственного решения, Валентин Феликсович вел себя так, будто вокруг никого не было. Он всегда стоял перед своей совестью один. И суд, которым он судил себя, был строже любого трибунала».]

Он глубоко понимал, что говорил, и слово его было почти пророческим, и теперь, на тридцать восьмом году своего священства и тридцать шестом году своего архиерейства, я вполне ясно понимаю, что моим призванием от Бога была именно проповедь и исповедание имени Христова. За долгое время своего священства я почти никаких треб не совершал, даже ни разу не крестил полным чином крещения. Кроме проповеди при богослужениях, совершаемых Преосвященным Иннокентием и мною самим, я проводил каждый воскресный день после вечерни в соборе долгие беседы на важные и трудные богословские темы, привлекавшие много слушателей, целый цикл этих бесед был посвящен критике материализма. Богословского образования я не имел, но с Божией помощью легко преодолевал трудности таких бесед.

Кроме того, мне приходилось в течение двух лет часто вести публичные диспуты при множестве слушателей с отрекшимся от Бога протоиереем Ломакиным, бывшим миссионером Курской епархии, возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии.

Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры, и верующие на давали ему прохода вопросом: «Скажи нам, когда ты врал: тогда, когда был попом, или теперь врешь?» Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от «этого философа».

Однажды, неведомо для него, железнодорожники пригласили меня в свой клуб для участия в диспуте о религии. В ожидании начала диспута я сидел на сцене при опущенном занавесе и вдруг вижу — поднимается на сцену по лестнице мой всегдашний противник. Увидев меня, крайне смутился, пробормотал: «опять этот доктор», поклонился и пошел вниз. Первым говорил на диспуте он, но, как всегда, мое выступление совершенно разбило все его доводы, и рабочие наградили меня громкими аплодисментами.

На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось слово псалмопевца Давида: смерть грешников люта. Он заболел раком прямой кишки и при операции оказалось, что опухоль уже проросла в мочевой пузырь. В тазу скоро образовалась глубокая, крайне зловонная полость, наполненная гноем, калом и мочой и кишевшая множеством червей. Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий, и даже партийные медицинские сестры, назначаемые для ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним.

В это трудное для меня время, когда мне приходилось совмещать служение и проповедь в кафедральном соборе с заведованием кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии и чтением лекций, я должен был спешно изучать богословие. И в этом деле мне помогал Господь Бог через одного из слушателей моих бесед и диспутов — верующего букиниста, который приносил мне так много богословских книг, что скоро у меня образовалась порядочная библиотека.

Но и этого мало: я продолжал работать в качестве главного врача больницы, широко оперировал каждый день и даже по ночам в больнице, и не мог не обрабатывать своих наблюдений научно. Для этого мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горою нагру-

женные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней. Свою работу на этих трупах мне приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот. Многие из этих исследований на трупах легли в основу моей книги «Очерки гнойной хирургии», выдержавшей три издания общим тиражом 60000 экземпляров. За нее я получил Сталинскую премию первой степени.

[«Чрезвычайно тяжелый путь сельского хирурга-самоучки, который мне пришлось пройти, научил меня весьма многому, чем хотелось бы теперь, на склоне моей хирургической деятельности, поделиться с молодыми товарищами, чтобы облегчить их трудные задачи», — писал будущий Владыка Лука в предисловии к первому изданию своей уникальной монографии, ставшей настольной книгой врачей.

Медики свидетельствуют, что монография Владыки Луки — действительно классический, фундаментальный труд, охватывающий практически все аспекты гнойной хирургии. Материал книги изложен необыкновенно ясно четко, понятно и вместе с тем высокопрофессионально. Так мог писать только человек, который сам начинал работать без практической помощи и руководства.

До эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем кроме хирургической, книга была просто необходима, а, имея ее, молодой специалист или просто хирург, не гнойный, могли осуществлять сложные операции в нелегких условиях земской больницы. Многие ученые отмечают, что «Очерки гнойной хирургии» написаны с большой любовью к страдающему человеку и с большой любовью к читателю.

«Публикация в 1934 году «Очерков гнойной хирургии» вызвала всеобщий интерес. Восторженный отзыв о книге дал выдающийся хирург И.И.Греков. С тех пор, вот уже более 40 лет, ни одна сколько-нибудь значительная работа по гнойной хирургии не появляется без ссылок на «Очерки гнойной хирургии» и ее автора..», — писал в 1977 году В.И.Колосов («Вестник хирургии», №9) . Тираж книги расходился мгновенно. Часто высказывались пожелания о новых ее переизданиях.

Есть свидетельство неверующих людей, что даже не зная, что «Очерки гнойной хирургии» написаны епископом Лукой, нельзя не заметить, что книгу писал христианин. Есть в ней строки, показывающие, с каким христианским вниманием относился Владыка к больному:

«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который к сожалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не

только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно».]

Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я заразился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но, по милости Божией, болезнь ограничилась одним тяжелым приступом и вторым — незначительным.

Весной 1923 года, незадолго до церковного раскола и появления «живой» церкви, епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской и Туркестанской епархии, который должен был избрать двух кандидатов на возведение в архиерейский сан. Выбор пал на архимандрита Виссариона и на меня.

Вскоре произошло восстание против Патриарха Тихона московских и петроградских священников, которое возглавил протоиерей Александр Введенский. По всей России произошло разделение духовенства на стойких и крепких духом, верных Православной Церкви и Патриарху Тихону, и на малодушных, неверных, или не разбиравшихся в бурных церковных событиях, вошедших в «живую» церковь, возглавляемую Введенским и немногими его сообщниками, имен которых уже не помню.

Отозвался раскол и у нас в Ташкентской епархии. Архиепископ Иннокентий, крайне редко сам проповедовавший, выступил со смелой, сильной проповедью о том, что в Церкви бунт, и что необходимо сохранять верность Церкви Православной и Патриарху Тихону и не входить ни в какие сношения с «живоцерковным» епископом, приезда которого ожидали.

Неожиданно для всех два видных протоиерея, на которых вполне надеялись, перешли в раскол, к ним присоединились и другие, и верных осталось немного.

Преосвященный Иннокентий поспешил совершить хиротонию архимандрита Виссариона. Совместно с епископом Сергием (Лавровым), недавно переведенным в Ташкент из ашхабадской ссылки, он совершил полным чином наречение во епископа архимандрита Виссариона. Но на другой же день нареченный епископ был арестован и выслан из Ташкента. Позже он примкнул к Григорианскому расколу и получил сан митрополита.

Преосвященный Иннокентий был очень испуган и тайно ночью уехал в Москву, надеясь оттуда попасть в Валаамский монастырь. Но это, конечно, ему не удалось, и лишь спустя много времени смог он пробраться в свою деревню Пустынька.

Епископ уехал. В Церкви бунт. Тогда протоиерей Михаил Андреев и я объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост, устроили съезд оставшихся верными, предупредили об этом ГПУ, попросив разрешения и присылки наблюдателя. Мы с протоиереем Андреевым взяли на себя управление епархиальными делами и созывали в Ташкенте на епархиальное собрание священников и членов церковного совета, отвергнувших «живую» церковь. На эти собрания мы просили ГПУ прислать своих представителей, но ни разу они не приезжали. Казалось бы, все безупречно, но за это, главным образом, я получил свою первую ссылку.

В это время приехал в Ташкент очень видный архиерей — Преосвященный Андрей (фамилии его не помню). Узнав о положении дел у нас, он назначил меня настоятелем собора и объявил протоиереем.

Вскоре после этого из Ашхабада в Ташкент был переведен другой ссыльный – Преосвященный Андрей Уфимский (князь Ухтомский).

[Епископ Андрей (в миру князь Александр Ухтомский) (1872—1944 гг.). В 1925 году уклонился в старообрядческий раскол; хотя он не объявлял о своем присоединении к старообрядцам, но был изобличен и запрещен в служении Местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Крутицким Петром.]

Незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию он был в Москве, и Патриарх Тихон, находившийся под домашним арестом, дал ему право избирать кандидатов для возведения в сан епископа и тайным образом рукополагать их.

Приехав в Ташкент, Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом на посвящение во епископа собором ташкентского духовенства и тайно постриг меня в монашество в моей спальне.

[Средний сын Владыки Луки Алексей рассказывал: «Однажды ночью, когда я лежал в своей кровати (она находилась в кабинете отца) , пришла София Сергеевна. Думая, что я сплю, она стала со слезами в голосе упрашивать отца не идти в монахи ради нас — детей. Но отец остался непреклонным».]

Он говорил мне, что хотел дать мне имя целителя Пантелеимона, но когда побывал на Литургии, совершенной мною, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки.

Преосвященный Андрей направил меня в таджикский город Пенджикент, отстоявший за 90 верст от Самарканда. В Пенджикенте жили два ссыльных епископа: Даниил Волховский и Василий Суздальский.

[Преосвященный Василий (Зуммер), еп.Суздальский, вик.Владимирской епархии, скончался в том же году в ссылке, в Ура-Тюбе в Средней Азии.]

Епископ Андрей передал им через меня письмо с просьбой совершить надо мною архиерейскую хиротонию.

Как я выше писал, я был два года и четыре месяца младшим священником ташкентского кафедрального собора, продолжая работать главным врачом и хирургом городской больницы. Мой отъезд в Самарканд должен был быть тайным, и потому я назначил на следующий день четыре операции, а сам вечером уехал на поезде в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, диакона и своего старшего сына — шестнадцатилетнего Михаила.

Утром приехали в Самарканд, но найти пароконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось почти невозможным: ни один не соглашался ехать, потому что все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один смельчак, который решился нас везти. Мы долго ехали. На полдороге мы остановились в чайхане отдохнуть и покормить лошадей. Две последние ночи я не спал ни минуты и там, как только лег на деревянный помост, на котором пьют чай узбеки, в тот же миг точно в бездну провалился, заснул мертвым сном. Я спал только 3/4 часа, но сон укрепил меня, и я совершенно отдохнул. С Божией помощью мы доехали благополучно.

Преосвященные Даниил и Василий встретили нас с любовью. Прочитав письмо епископа Андрея Ухтомского, решили назначить на завтра Литургию для совершения хиротонии и немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского, без звона и при запертых дверях. С епископами жил ссыльный московский священник протоиерей Свенцицкий, известный церковный писатель, который тоже присутствовал при моем посвящении.

[Протоиерей Валентин Свенцицкий родился в дворянской семье в Казани в 1882 году. В юности учился в Московском Университете, был членом различных философских кружков, в основном с религиозным уклоном, писал расска-

зы, повести, драмы, выступал с публичными лекциями. И в молодые годы, и впоследствии В.П.Свенцицкий умел необыкновенно влиять своим словом на людей и в лекциях, и в проповедях, и в частных беседах.

Он рассказывал, что в детстве верил в Бога, но потом был период, лет в шестнадцать—семнадцать, когда он дошел до полного отрицания и отчаяния. Его душевное состояние было невыносимо, он почти сходил с ума. И вот Валентин отправляется в Оптину пустынь, монастырь, славившийся старцами святой жизни, и попадает к старцу Анатолию (Потапову). Старец оказал глубочайшее влияние на юношу; к нему вернулась вера, более глубокая и серьезная, чем она была раньше.

События 1905 года увлекли В.П.Свенцицкого идеями христианского социализма и побудили его организовать нелегальное общество «Христианское братство борьбы», куда входили также П.Флоренский, В.Эрн, А.Ельчанинов, о.Иона Брихничев. Впоследствии Валентин Свенцицкий полностью отказался от социалистических идей.

В 1917 году в Петрограде он принимает священный сан, затем переезжает в Москву, где часто служит в разных храмах и проповедует. Вскоре о.Валентин был сослан в Пенджикент в Средней Азии.

Вернувшись в 1925 году из первой ссылки, о.Валентин Свенцицкий начинает служить в храме сщмч.Панкратия, где ведет регулярные беседы с прихожанами о вере и Церковной жизни. По благословению Святейшего Патриарха Тихона он проводит шесть чтений о Таинстве покаяния, которые были направлены против начинавшей тогда распространяться общей исповеди. В этих чтениях о.Валентин на многих исторических примерах доказывал ее полную неканоничность и то, что такая практика является искажением Таинства (см.«Надежда», вып.2 Possev-Verlag, Frankfurt/Main, 1979) .

Декларация митрополита Сергия (Страгородского) от 16 (29) июля 1927 г. вызвала у о.Валентина резкий протест. Он ушел в Иосифлянский раскол. Отец Валентин даже запрещал своим духовным чадам посещать храмы, подчиняющиеся митрополиту Сергию. В 1928 году о.Валентин вновь был арестован и выслан в Сибирь на поселение. Там, в небольшой деревушке в восьмидесяти километрах от станции Тайшет он заболел тяжелой и мучительной болезнью. В ссылке о.Валентин выстрадал решение вернуться в общение с митрополитом Сергием. Пред лицом смерти он принес искреннее покаяние. Вот выдержки из письма о.Валентина митрополиту Сергию:

«Ваше Высокопреосвященство, Всемилостивый архипастырь и отец, я умираю.

Уже давно меня тревожит совесть, что я тяжко согрешил перед Святой Церковью, и перед лицом смерти мне стало это несомненно. Я умоляю Вас простить мой грех и воссоединить меня со Святой Православной Церковью. Я приношу покаяние, что возымел гордыню вопреки святым канонам не признать Вас законным первым епископом, поставив свой личный разум и личное чувство выше соборного разума Церкви... Мне ничего не нужно, ни свободы, ни

изменений внешних условий, ибо сейчас я жду своей кончины, но ради Христа примите мое покаяние и дайте умереть в единении со Святой Православной Церковью». Из писем духовным чадам:

«Ваш духовный отец сделал страшную духовную ошибку и тяжко согрешил. Три года тому назад я отделился от митрополита Сергия и увел свою паству из лона Православной Церкви. Горе тому, через кого в мир приходит соблазн, а я соблазнил многих... Я умираю и перед лицом смерти сознаю этот свой страшный грех перед святой Церковью и перед вами. Простите меня ради Христа и вернитесь вместе со мной в лоно Православной Церкви, принося покаяние в отделении, в отпадении от Православия, в которое вовлек я вас. Кто из вас не потеряет в меня веру как в духовного руководителя, несмотря на это страшное мое заблуждение, тот пусть останется со мной в единении».

«Мудрость человеческая заслонила вечное и премудрое. Соборы провидели всю историю, знали, какие ужасы будут творить сидящие на Патриарших престолах, сколько будет борьбы, жестокости, неправды, недопустимых компромиссов, граничащих с преступлением, и знали какой это будет соблазн для человеческих душ, подобный тому, в который вовлек я вас... они премудро оградили человеческие души от этих соблазнов строжайшими канонами, что не признавать можно только тогда, когда извращается догмат веры... Как случилось, что у меня открылась вполне истина — рассказать почти невозможно, но знайте, что это имеет прямое отношение к моему концу, и, может быть, Господь меня сохранил перед смертью и дал возможность принести покаяние... Это страшно, это непосильно человеку — совесть, — такая страшная вещь. Она возлагает такие ужасающие бремена, но без нее нельзя жить».

Умер о.Валентин Свенцицкий 20 октября 1931 году, получив полное прощение от митрополита Сергия. Тело почившего разрешили перевезти в Москву. Во время заупокойных богослужений нескончаемым потоком шел народ ко гробу.]

На вечерне и Литургии читали и пели мои спутники и протоиерей Свенцицкий.

Преосвященных Даниила и Василия смущало то обстоятельство, что я не был архимандритом, а только иеромонахом, и не было наречения меня в сан епископа. Однако недолго колебались, вспомнили ряд примеров посвящения во епископа иеромонахов и успокоились. На следующее утро все мы отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале Литургии совершили хиротонию.

При хиротонии посвящаемый склоняется над престолом, а архиерей держит над его головой раскрытое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда читали совершительную молитву Таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом дрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий и протоиерей Свенцицкий вернулись домой несколько раньше, чем я, и встретили меня архиерейским приветствием: «Тон деспотин ке архиереа имон..» Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Святейшему Патриарху Тихону, то он, ни на минуту не задумываясь, утвердил и признал ее законной.

На воскресенье, 21 мая, день памяти равноапостольных Константина и Елены, я назначил свою первую архиерейскую службу. Преосвященный Иннокентий уже уехал. Все священники кафедрального собора разбежались как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

На моей первой службе в алтаре присутствовал Преосвященный Андрей Уфимский; он волновался, что я не сумею служить без ошибок. Но, по милости Божией, ошибок не было.

Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правило ко причащению Святых Тайн. В 11 часов вечера — стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в «черный ворон», как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадцати годам моих тюрем и ссылок.

[Зная популярность Владыки Луки (профессора Войно-Ясенецкого) в народе, власти боялись, как бы чего не вышло, поэтому его арест сопровождался травлей в «рабоче-крестьянской прессе». Последовало несколько клеветнических статей, явно по заказу ГПУ. И впоследствии в советских газетах неоднократно клеветали на Владыку Луку, в том числе, нападал на него в печати отрекшийся от Бога бывший протоиерей Ломакин.]

Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы, она получала два червонца в месяц, и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

[В то же время Владыку Луку обвиняли в связях с англичанами, которые он осуществлял якобы через турецкую границу. Рассказывая об этом, Владыка с улыбкой заметил: «Я не мог быть участником казачьего заговора и деятелем международного шпионажа по двум причинам: во-первых, это противоречило моим убеждениям, а во-вторых, чекисты утверждали, что и на Кавказе, и на Урале я действовал одновременно. Все мои попытки объяснить им, что для одного человека это физически невозможно, ни к чему не приводили».]

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ.

[Согласно книге М.Поповского, это был Петерс.]

Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: так кто

же вы — друг наш или враг наш? Я ответил: «И друг ваш и враг ваш, если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш».

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более свободное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его постройками. На дальнейших допросах мне предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк первого выпуска — «О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его».

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено.

[Прежде чем Владыка Лука был отправлен в ссылку, он успел обратиться к наркому просвещения А.В.Луначарскому, ведавшему также наукой и делами издательскими. Заключенный профессор просил у наркома не свободы и не справедливого суда. Он лишь хотел, чтобы на обложке будущей медицинской монографии рядом с фамилией автора обозначен был его духовный сан. Луначарский ответил решительным отказом. Советское государственное издательство не может выпускать книг епископа Луки. Отпечатанный на машинке ответ наркома ВойноЯсенецкий с большим огорчением показывал позднее в ссылке студенту-медику Ф.И.Накладову.

Впоследствии Владыка опубликовал в зарубежных журналах несколько своих работ на немецком языке. Он подписывал их «Епископ Лука».]

> В тюрьме меня держали недолго и освободили на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву. Всю ночь моя бывшая квартира главного врача больницы была наполнена прихожанами собора, пришедшими проститься со мною. В это время Ташкентская архиерейская кафедра была уже занята «живоцерковным» митрополитом Николаем, которого я назвал лютым вепрем, возлегшим на горнем месте, и запретил иметь с ним общение. Это мое завещание взбесило чекистов.

[Сохранился полный текст завещания Владыки Луки, составленного, возможно, за несколько часов до ареста: «К твердому и неуклонному исполнению завещаю вам: неколебимо стоять на том пути, на который я наставил вас.

Подчиняться силе, если будут отбирать от вас храмы и отдавать их в распоряжение дикого вепря, попущением Божиим вознесшегося на горнем месте соборного храма нашего. Внешностью богослужения не соблазняться и поругание богослужения, творимого вепрем, не считать богослужением. Идти в храмы, где служат достойные иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами завладеет вепрь, считать себя отлученными Богом от храмов и ввергнутыми в голод слышания слова Божия. С вепрем и его прислужниками никакого общения не иметь и не унижаться до препирательства с ними.

Против власти, поставленной нам Богом по грехам нашим, никак нимало не восставать и во всем ей смиренно повиноваться.

Властью преемства апостольского, данного мне Господом нашим Иисусом Христом, повелеваю всем чадам Туркестанской Церкви строго и неуклонно блюсти мое завещание. Отступающим от него и входящим с вепрем в молитвенное общение угрожаю гневом и осуждением Божиим. Смиренный Лука».

На допросе в ГПУ, епископ Лука говорил о живоцерковниках: «Христову правду попирает тот, кто, прислуживаясь к советской власти авторитетом Церкви Христовой освящает и покрывает все ее деяния».

К середине августа все храмы в городе перешли к живоцерковникам. Но... храмы эти стояли пустыми. «Завещание» епископа Луки — несколько десятков перепечатанных на машинке листочков — оказали на прихожан значительно большее влияние, чем газетные заклинания партийных пропагандистов и живоцерковников. В ГПУ поняли: Владыку Луку надо как можно скорее выслать за пределы Туркестана.]

Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал и занял место не в арестантском, а в пассажирском вагоне. После первого, второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд минут двадцать не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двинуться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте, но, конечно, это было невозможно.

ПЕРВАЯ ССЫЛКА

В Москве я явился в центральное ГПУ, где после короткого, ничего не значащего допроса мне объявили, что я могу свободно жить в Москве неделю, а потом должен снова явиться в ГПУ. В течение этой недели я дважды был у Патриарха Тихона и один раз служил совместно с ним.

[В церкви Вознесения в Кадашах.]

При вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму. После недельного пребывания в карантине меня поместили в уголовную камеру, в которой, однако, бандиты и жулики относились ко мне довольно прилично. В тюремной больнице я впервые познакомился с Новгородским митрополитом Арсением.

[Митрополит Арсений (Стадницкий) умер в ссылке в Ташкенте в 1936 году.]

В соседней камере, тоже уголовной, находился священник, имевший очень большое влияние на бандитов и жуликов. Влияние этого священника внезапно прекратилось, когда в камеру вошел старик матерый вор, которого уголовники встретили, как своего вождя, с большим почетом.

Нас каждый день выпускали на прогулку в тюремный двор. Возвращаясь со двора на второй этаж, я впервые заметил одышку.

Однажды, к моему большому удивлению, меня вызвали на свидание. Через решетку я разговаривал со своим старшим сыном Мишей. В поисках работы он испытал немало злоключений. В Киеве ему пришлось красить железнодорожный мост, вися в люльке над Днепром.

В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой радости, удалось получить Новый Завет на немецком языке, и я усердно читал его. Глубокой осенью большую партию арестантов Бутырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в Таганскую тюрьму. Я шел в первом ряду, а недалеко от меня шел тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней с моей камере Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшкой». Позже в других тюрьмах я не раз

убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От тюремного врача я получил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком, и меня должны везти на подводе. В московских тюрьмах мне пришлось сидеть вместе с протоиереем Михаилом Андреевым, приехавшим из Ташкента вместе со мной. Вместе с ним уехал я и из Москвы в свою первую ссылку, в начале зимы 1923 года.

Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства. В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склянку дигиталиса получил только дней через двенадцать. В Тюменской тюрьме мы впервые встретились с протоиереем Илларионом Голубятниковым и дальше ехали вместе с ним.

Вторая этапная остановка была в городе Омске, но о ней у меня не осталось никаких воспоминаний. От Омска мы ехали до Новосибирска в «столыпинском» арестантском вагоне, состоявшем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкого коридора с маленькими, высоко расположенными оконцами. В камеру, отведенную для меня и моих спутников — двух протоиереев, посадили, кроме нас, бандита,

убившего восемь человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам.

Бандит знал, что я в Таганской тюрьме отдал свой полушубок дрожавшему шпаненку, и был очень вежлив со мной. Он уверял меня, что никогда нигде меня не обидит никто из их преступной братии. Однако уже в Новосибирской тюрьме при мытье в бане у меня украли несколько сот рублей, а позже, в той же тюрьме, украли чемодан с вещами.

В этой тюрьме нас сначала посадили в отдельную камеру, а вскоре перевели в большую уголовную камеру, где нас шпана встретила настолько враждебно, что я должен был спасаться бегством от них: стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем случае не вернусь в камеру.

От Новосибирска до Красноярска ехали без особых приключений. В Красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был другой, где находились казаки повстанческого отряда. Имени их предводителя я не запомнил, но никогда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за триста двадцать километров к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. После тяжелого остеомиелита [Гнойное воспаление костного вещества.], никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости.

Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр.

В Енисейске мы получили хорошую квартиру в доме зажиточного человека и прожили в ней около двух месяцев. К нам присоединился еще один ссыльный священник, и все мы по воскресным и праздничным дням совершали всенощную и Литургию в своей квартире, в которую входила и гостиная. В Енисейске было очень много церквей, но и здесь, как и в Красноярске, священники уклонились в «живоцерковный» раскол, и с ними, конечно, мы не могли молиться. Один диакон сохранил верность Православию, и я рукоположил его во пресвитера.

В один из праздничных дней я вошел в гостиную, чтобы начать Литургию, и неожиданно увидел стоявшего у противоположной двери незнакомого старика-монаха. Он точно остолбенел при виде меня и даже не поклонился. Прийдя в себя, он сказал, отвечая на мой вопрос, что в Красноярске народ не хочет иметь общения с неверными священниками и решил послать его в город Минусинск, верст за триста к югу от Красноярска, где жил православный епископ, имени его не помню. Но к нему не поехал монах Христофор, ибо какая-то неведомая сила увлекла его в Енисейск ко мне. «А почему же ты так остолбенел, увидев меня?» — спросил я его. «Как было мне не остолбенеть?! — ответил он. — Десять лет тому назад я видел сон, который, как сейчас помню. Мне снилось, что я в Божием храме, и неведомый мне архиерей рукополагает меня во иеромонаха. Сейчас, когда Вы вошли, я увидел этого архиерея!»

Монах сделал мне земной поклон, и за Литургией я рукоположил его во иеромонаха.

Десять лет тому назад, когда он видел меня, я был земским хирургом в городе Переславле-Залесском и никогда не помышлял ни о священстве, ни об архиерействе. А у Бога в то время я уже был епископом. Так неисповедимы пути Господни.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вел большой прием больных у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым вести запись больных. Эта запись, начатая в первых числах марта, скоро достигла дня Святой Троицы.

[Во всех местах ссылок епископа Луки живут доныне десятки людей, хранящих благодарную память о нем. Владыка Лука не отказывал в помощи самым сирым и убогим, не брал ничего за лечение, мог целыми днями возиться с хворыми и грязными деревенскими ребятишками.

На каждую операцию с участием епископа Луки полагалось получить отдельное разрешение, которые давали неохотно; и растущая популярность ссыльного раздражала городских начальников. В Енисейске рассказывают, что его однажды вызвали в ГПУ. Едва он, как всегда в рясе и с крестом, переступил порог кабинета, чекист заорал: «Кто это вам позволил заниматься практикой?» Владыка Лука ответил: «Я не занимаюсь практикой в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Я не беру денег у больных. А отказать больным, уж извините, не имею права».

К Владыке-врачу несколько раз подсылали «разведчиков», но оказалось, что никакой платы с больных он не берет, а в ответ на благодарность пациентов отвечает: «Это Бог вас исцелил моими руками. Молитесь Ему». После этого власти стали смотреть на медицинскую практику ссыльного профессора более снисходительно. На Енисее в то время свирепствовала трахома. Из-за этой болезни многие местные жители: кеты, селькуны, эвенки — теряли зрение. Бывший начальник Енисейского пароходства И.М.Назаров передает слова, слышанные в тридцатые годы от погонщика-эвенка Никиты из Нижнего Имбацка: «Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку, поп-шаман.

Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится. Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят». Капитан Назаров считает, что речь шла о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком, который очень хорошо оперировал больных с последствиями трахомы.]

Незадолго до моего приезда в Енисейске был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось это закрытие храма Божия.

[В Енисейске имели особенный размах бесчинства комсомольцев-атеистов. Бывший милиционер с большой охотой рассказывал, как он сам в то время обдирал с икон Успенского собора золотые ризы, как грузил на подводу реквизированные чаши и кадила, как помогал стаскивать с церквей колокола. Во время реквизиций верующие — порой собиралось несколько сот человек — стоя поодаль, ругали представителей власти и комсомольских активистов. Слышались проклятия и молитвы о наказании богохульников. Милиционер делал предупредительные выстрелы в воздух, некоторых уводил в участок. Зимой 1924 года комсомольцы опрокинули в деревне Сотниково часовню: «Просто так, для смеха». Бывшая пионервожатая вспоминает, что весь 1924 год в Енисейске гремели взрывы: комсомольцы под руководством своего секретаря, организатора кощунственных карнавалов и представлений, разрушали храмы.

Владыка Лука несколько раз произносил проповеди, обличая это нечестие, стыдил разрушителей храмов, принял участие в публичном многолюдном диспуте с молодым медиком-атеистом Чеглецовым. Тем самым Владыка Лука еще более настроил против себя енисейское партийное и советское начальство.

Враждебно относились к епископу Луке и некоторые местные медики, вернее, бывшие фельдшера, которые в то время вели частную практику, сменив опытных врачей: Войно-Ясенецкий лишил их клиентуры. Предприниматели от медицины, сколотившие капиталы в годы НЭПа, стали лицемерно жаловаться властям на «попа», который производит «безответственные» операции...]

Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол.

Этих двух послушниц я постриг в монашество и дал им имена моих небесных покровителей: старшую назвал Лукией, а младшую — Валентиной.

Незадолго до Благовещения я был послан в назначенное мне место ссылки — деревню Хая на реке Чуне, притоке Ангары.

[Хая — деревушка в восемь дворов, кругом бескрайняя лесная пустыня. В марте тут еще глубокая зима. Дом часто до крыши заносило снегом. Приходилось ждать, пока утром олени протопчут тропу, чтобы можно было принести хвороста на растопку. В рукомойнике в сенях замерзала вода.

С глубоким христианским терпением переносил Владыка Лука все тяготы ссылки: «Обо мне не заботься, я ни в чем не нуждаюсь», — писал он сыну Михаилу из Енисейска, и через несколько месяцев снова: «Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю — монахини с большой любовью заботятся обо мне».]

Лукия и Валентина с вещами поехали вперед меня, а со мной до районного села Богучаны ехали протоиереи Илларион Голубятников и Михаил Андреев. Ехали мы на лошадях по замерзшему Енисею и Ангаре до Богучан, где нас разлучили, послав протоиереев Голубятникова и Андреева в недалекие от Богучан деревни, а меня за сто двадцать верст, в деревню Хая. В Богучанах я оперировал больного, у которого был нагноившийся эхинококк печени, и через несколько месяцев, возвращаясь из Хай, нашел его вполне здоровым.

В Богучанах мне указали благочестивого крестьянина в селе Хая, у которого советовали поселиться, но предупреждали, что у него злая старуха-мать. В Хае меня уже ожидали мои монахини, поселившиеся у этого крестьянина. Старуха-мать встретила меня с большой радостью. Мне отвели две комнаты, в одной из которых я с монахинями совершал богослужение, а в другой спал. Злая старуха только в первые дни приходила на наше богослужение, а потом не только оставалась на своей половине, но старалась всячески мешать нашим службам.

Злая старуха все больше и больше притесняла нас и стала прямо-таки выживать из дома. Дело дошло до того, что мы с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на них у стены. Видя, что нас выгнали из дома, народ возмутился и заставил старуху принять нас обратно в дом.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке. У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно. За нее я получил десять беличьих шкурок, ценившихся по рублю. Довелось мне также совершать и погребение по пасхальному чину одного крестьянина с моими монахинями.

В Хае мы прожили месяца два, и был получен приказ отправить меня снова в Енисейск. Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лошадей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили животных, что струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы ночевали в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной — профессором. Не доезжая верст десяти до Богучан прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым. Дальше до Богучан мы ехали на телеге. Затем плыли по Ангаре на лодках, причем пришлось миновать опасные пороги. Вечером, на берегу

Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню.

По прибытии в Енисейск я был заключен в тюрьму в одиночную камеру. Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайся, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры. В Енисейской тюрьме меня держали недолго и отправили дальше, вниз по Енисею, когда пришел из Красноярска караван, состоявший из небольшого парохода, буксировавшего несколько барж. Меня поместили в одной из этих барж вместе с отправленными в Туруханский край социал-революционерами. Монахини Лукия и Валентина хотели провожать меня, но этого им не позволили.

Путь по широкому Енисею, текущему по безграничной тайге, был скучен и однообразен. На полдороге до Туруханска была небольшая остановка в довольно крупном селении, название которого я не помню. На берегу меня встретила большая группа ссыльных, встречавших каждый пароход в надежде увидеть меня, ибо там как-то прослышали о моей ссылке в Туруханск. Из этой группы ко мне подошел представиться пресвитер ленинградской баптистской общины Шилов, с особым нетерпением ожидавший меня. Позже он приезжал ко мне в Туруханск для долгих бесед.

Немного поодаль стояла другая группа людей, тоже ожидавших меня. Это были тунгусы, все больные трахомой [Трахома — хроническое вирусное заболевание глаз, при

отсутствии лечения ведущее к изъязвлению роговицы, завороту век, образованию бельма, слепоте.]. Одному из них, полуслепому от заворота век, я предложил приехать ко мне в Туруханск в больницу для операции. Он вскоре последовал моему совету, и я сделал ему пересадку слизистой оболочки губы на веки.

В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу.

[В Туруханске по словам простой пожилой женщины, санитарки районной больницы, «профессора Луку» и поныне знает «весь народ»; с благодарностью вспоминают о том, как он возвратил здоровье множеству людей, несмотря на то, что оборудование в больнице в двадцатые годы было самое примитивное: инструменты, например перед операцией кипятили в самоваре...

Рассказывают, что Владыка Лука жил очень бедно почти не имел вещей, только книги.]

Незадолго до этого врач больницы, поздно распознав у себя рак нижней губы, уехал в Красноярск, где ему была сделана операция, уже запоздалая, как оказалось впоследствии. В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала сестра из Красноярска — молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекция верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных.

Уже начинался ледоход на Енисее, когда, к моему удивлению, приехал ко мне на лодке за семьсот верст ленинградский пресвитер баптистов Шилов. Шилов предпринял этот опасный, тяжелый путь только ради бесед со мною. Раньше его в Туруханск приехал маленький тщедушный еврейчик, который из Америки приехал в

Москву под видом коммуниста, но чем-то возбудил подозрение и был заключен в упраздненный Соловецкий монастырь.

Этот еврейчик однажды присутствовал при моей беседе с Шиловым, и я по его просьбе разрешил ему присутствовать на наших беседах, которые продолжались дня три по несколько часов ежедневно. Шилов просил меня разобрать целый ряд текстов Священного Писания, и, конечно, я разъяснил их в православном духе. Но странным образом оказалось, как увидим в дальнейшем, Шилов счел меня убежденным в правоте баптизма. Наши беседы закончились. Шилов успел вернуться в Красноярск на каком-то запоздавшем пароходе.

В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, старик-священник совершал все богослужения.

[Имя священника было отец Мартин Римша. До принятия сана он почти сорок лет был учителем в деревнях родной Белоруссии. Это был глубоко верующий человек, интеллигент. По болезни сердца оставил учительство, окончил в Москве пастырские курсы прот.Иоанна Восторгова (†1917 г.) для Сибири и со всей большой семьей уехал на Енисей незадолго до Первой Мировой войны. Туруханские крестьяне уважали о.Мартина; часто приходили к нему побеседовать сосланные в Туруханск большевики.

Узнав от Владыки Луки, на какой политической закваске замешана «живая» церковь, о.Мартин все понял и легко обратился из раскола. В жизни о.Мартина было большое горе. Всеми силами стремился он воспитывать свою дочь в вере и благочестии: он отдал ее в епархиальное училище, затем для продолжения обучения — в Енисейский монастырь. У Веры были хорошие способности, ей легко давались Священная История и катехизис. Но, возможно, по причине изучения христианства более по букве, чем по духу, девушка, как это бывало в начале революции, совершенно потеряла веру в Бога, стала активисткой, уехала от родителей в Красноярск, вышла замуж, стала комсомолкой-безбожницей.

Приехав после смерти своей матери навестить отца и братьев, Вера привезла несколько номеров журнала «Безбожник», где печаталась тогда «Библия для неверущих» Емельяна Ярославского [Емельян Ярославский (Губельман Миней Израилевич), партийный деятель, возглавлял «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), созданный в

1925 г. на основе актива газеты «Безбожник». Эта погромная организация нанесла непоправимый урон отечественной культуре. Пользуясь монополией в сфере идеологии, обладая разветвленной сетью периодических изданий (газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Атеист», «Антирелигиозник», «Юные безбожники» и др.), имея свое издательство, союз фактически развернул широкую кампанию клеветы, кощунства, очернительства Святой Церкви, вдохновлял на погромы рядовых «безбожников» и обманутые «народные массы». Осквернение святынь, закрытие и разрушение храмов, сожжение икон, повсеместное едва ли не ежедневное оскорбление чувств православного народа — вот далеко не полный список злодеяний СВБ. С союзом сотрудничали Крупская, Красиков, Скворцов-Степанов, Демьян Бедный и др. В годы войны СВБ практически прекратил своё бесславное существование. В 1947 году его функции были переданы Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний (общество «Знание»).]. Отец Веры назвал эти писания «сатанинской философией».

Вскоре после этого в Туруханске появился Владыка Лука. Сама Вера Мартиновна Савинская вспоминала: «Одним из первых его вопросов к моему отцу был вопрос: «Кому подчиняешься, батюшка, обновленцам или тихоновцам?» — «Те и другие мне пишут, и отвечать приходится и тем, и другим». — «Правильная вера у Патриарха Тихона, а обновленцы — подлипалы советской власти», — сказал епископ».

В то время дочери о.Мартина было неприятно, что ее отец оказался под влиянием ссыльного тихоновца. Но еще более обидно стало ей, когда Владыка Лука, по ее словам, «сам того не зная, свел на нет всю ее антирелигиозную пропаганду». «До его приезда, — пишет Савинская, — совсем мало людей посещало церковь, а с его приездом приток прихожан в церковь значительно усилился. Туруханцы мне говорили, что в двунадесятые праздники верующие выстилали ему дорогу от больницы до церкви красным сукном, коврами и половиками. А мне отец перестал даже отвечать на письма...»

Спустя много лет, Вера Мартиновна сожалела, что не пожелала встретиться с Владыкой Лукой в 1926 году, когда в Красноярске, возвращаясь из ссылки, он прислал ей приглашение зайти к нему. Отца Мартина впоследствии арестовали за неподчинение властям, которое выразилось в том, что священник отказался присутствовать при вскрытии мощей св.мч.Василия Мангазейского, почивавших в бывшем Туруханском монастыре. Отец Мартин претерпел двенадцать лет ссылки и лагерей. В 1936 году он написал дочери, что хотел бы приехать в Красноярск. Она к этому времени считала отца давно погибшим. «При встрече, — вспоминает Вера Мартиновна, — отец показал мне целую пачку почтовых квитанций. Владыка Лука, оказывается, все это время делал ему ежемесячные переводы по 30, а чаще по 50 рублей». Умер о.Мартин Римша в 1941 году, в доме своей дочери.]

Он подчинялся красноярскому «живоцерковному» архиерею, и мне надо было обратить его и всю туруханскую паству на путь верности древнему Православию. Достигнуть этого удалось проповедью о великом грехе церковного раскола: священник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал на них. Туруханские крестьяне были мне глубоко благодарны и привозили меня в монастырь и домой на устланных коврами санях. В больнице, конечно, я не отказывал никому в благословении, которое очень ценили тунгусы и всегда просили.

[В операционной у Владыки Луки, как и в Ташкенте, на тумбочке стояла икона, а возле нее зажженная лампада. Рассказывают, что перед операцией Владыка ставил йодом крест на теле больного.]

За это и за церковные проповеди мне пришлось дорого поплатиться. Меня предупреждали, что председатель Туруханского краевого совета – большой враг и ненавистник религии. Это, однако, не помешало ему возопить к Богу о спасении, когда он попал в жестокую бурю на Енисее на небольшой лодке. По требованию этого председателя меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить в него на покрытых коврами санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказывать людям в благословении, и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление о запрещении больным просить у меня благословения. Этого, конечно, он сделать не мог. О поездках в церковь я тоже ему предложил запретить крестьянам подавать мне сани, устланные коврами. Этого он тоже не сделал.

Однако недолго терпели мою твердость. Здание ГПУ находилось совсем рядом с больницей. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой зло-

бой и объявил, что за неподчинение требованиям исполкома я должен немедленно уехать дальше из Туруханска и на сборы мне дается полчаса.

[Эта высылка была равносильна преднамеренному убийству. В разгар зимы, которая в этот год выдалась особенно жестокой, отправить на открытых санях за полторы тысячи верст человека, не имеющего теплой одежды, значило обречь его на неизбежную гибель. Председатель Туруханского краевого совета (красный партизан, герой гражданской войны ФИ.Бабкин), как коренной енисеец, хорошо это понимал.]

Я только спросил спокойно: куда же именно высылают меня? И получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».

Я спокойно ушел в больницу, и за мной последовал милиционер. Он шепнул мне на ухо: «Пожалуйста, пожалуйста, профессор, собирайтесь, как можно быстрее: нам нужно только выехать отсюда и поскорее доехать до ближайшей деревни, а дальше поедем спокойно». Скоро мы добрались до недалекой от Туруханска деревни Селиванихи, получившей свое название от фамилии главаря секты скопцов Селиванова, отбывавшего в ней свою ссылку.

Скоро собрались мои компаньоны по ссылке — социал-революционеры, с большим интересом относившиеся ко мне и долго беседовавшие со мной. Они снабдили меня деньгами и меховым одеялом, которое очень пригодилось мне.

[Еврей из Белоруссии, эсер Розенфельд был принципиальным атеистом и материалистом. На этой почве у него с епископом не раз происходили горячие схватки. Но как только Розенфельд узнал о ссылке Войно-Ясенецкого, он принялся обходить дома своих товарищей-эсеров и собрал в конце концов целую охапку теплых лещей и даже немного денег.]

После ночлега в съезжей избе поехали дальше.

Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня. Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мною Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня.

Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного полярного круга, за которым стояла деревушка, название которой я не помню. В ней жил в ссылке И.В.Сталин.

Когда мы вошли в избу, хозяин ее протянул мне руку. Я спросил: «Ты разве не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?» Это, как позже выяснилось, произвело очень большое впечатление на конвоировавшего меня милиционера. Он и раньше, на пути от Селиванихи до следующего станка говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь».

Следующий наш ночлег был в станке из двух дворов, в котором жил суровый старик Афиноген со своими четырьмя сыновьями на положении средневекового феодального барона. Он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы в Енисее на протяжении сорока километров, и никто не смел оспаривать это право. Младший из сыновей старика являл собою необыкновенный пример патологической лености. Он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал. Его много раз свирепо, до полусмерти избивали, но ничего не помогало. Старик Афиноген считал себя примерным христианином и любил читать Священное Писание. До поздней ночи я беседовал с ним, разъясняя то, что он понимал неправильно.

Дальнейший путь был еще более тяжел. Один из следующих станков недавно сгорел. Мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей, ослабевших от недостатка корма. На них пришлось ехать до следующего станка. Проехав

без остановки не менее семидесяти верст, я очень ослабел и так закоченел, что меня на руках внесли в избу и там долго отогревали. Дальнейший путь до станка Плахино, отстоявшего за двести тридцать километров от Полярного круга, прошел без приключений. Моему комсомольцу, как он мне сказал, было поручено самому избрать для меня место ссылки, и он решил оставить меня в Плахино.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб и еще двух больших, как мне показалось, груд навоза и соломы, которые в действительности были жилищами двух небольших семей. Мы вошли в главную избу, и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахино. Все низко поклонились, и председатель станка сказал мне: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться, мы все для вас устроим». Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: «Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставлять вам полсажени дров в месяц. Вот эта женщина будет вам готовить, а эта будет стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться». Все просили у меня благословения и показали приготовленное для меня помещение в другой избе, разделенной на две половины. В одной половине жил молодой крестьянин со своей женой. Их переселили в другую половину избы, потеснив живших там. Мой конвоир-комсомолец очень внимательно наблюдал за всей сценой знакомства моего с жителями станка. Он должен был сейчас уехать ночевать в торговую факторию, находившуюся в нескольких километрах от Плахино. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его. Это, как увидим в дальнейшем повествовании, произвело на него сильное впечатление.

Я остался один в своем помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские

льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой. Вблизи нар стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре.

В первый же день я принялся заклеивать щели в окне клейстером и толстой оберточной бумагой от покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щель в углу избы. Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже — холодно. Однажды мне пришлось помыться в таком холоде. Мне принесли таз и два ведра воды: одно — холодной, с кусками льда, а другое — горячей, и не понимаю, как я умудрился помыться в таких условиях. Иногда по ночам меня будил точно сильнейший удар грома, но это был не гром, а трескался лед поперек всего широкого Енисея.

Недолго я получал пищу от бабы, которая обязалась стряпать для меня: она подралась со своим любовником и отказалась готовить мне пищу. Мне пришлось первый раз в жизни попробовать самому готовить себе пищу, о чем я не имел никакого понятия. Рыбу мне приносили крестьяне, а другие продукты покупали в фактории. Не помню уже, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель. Я сварил клюкву и стал подливать в нее жидкий крахмал; сколько я ни лил, мне все казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крах-

мал, пока кисель не превратился в твердую массу. Потерпев такое фиаско со своей кулинарией, я должен был спасовать, и надо мной сжалилась другая баба и стала стряпать для меня.

У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на это, но радость была недолгая: с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше и меньше, и вскоре прекратились мои чтения и проповедь.

Расскажу еще об одном Божием деле, которое мне пришлось совершить в Плахине. Теперь, когда пишу эти воспоминания, я уже более тридцати семи лет в священном сане и более тридцати пяти лет в архиерейском, но, как это ни странно, я крестил только трех детей: одного близкого к смерти — сокращенным чином и двух других — совершенно необыкновенным образом.

И вот в самой далекой моей ссылке, за двести тридцать верст дальше Полярного круга в станке Плахино, мне пришлось крестить двух малых детей в совершенно необычной обстановке. Как я уже говорил, в станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели.

И теперь мне, архиерею, крестить не приходится, ибо крестят мои священники.

В Плахине часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю. За два месяца моей жизни в Плахине я только один раз увидел сидевшую на кусте маленькую птичку, похожую на большой комок розового пуха. Однажды мне пришлось испытать крайне тяжелый мороз, когда несколько дней подряд беспрестанно дул северный ветер, называемый тамошними жителями «сивер». Это тихий, но не перестающий ни ночью, ни днем леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь неподвижно стоят, повернувшись задом к северу.

На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул «сивер», поплавки непрестанно стучали, и этот стук напоминал мне музыку Грига «Пляска мертвецов». Мне, конечно, всегда приходилось выходить днем и ночью из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но когда дул «сивер», положение становилось отчаянным. В Плахине прожил я немного более двух месяцев — до начала марта, и проезжих в этом станке никого не было.

[Однажды в Плахине епископа Луку навестил А.К.Константинов, в прошлом почтовый и торговый чиновник, а в двадцатых годах — уполномоченный Московской конторы по заготовке пушнины. Через него начальник туруханской почтовой конторы, у которого Владыка Лука спас больного ребенка, передал ссыльному епископу корреспонденцию, нарушая строгий запрет властей.

Константинов переступил засыпанный снегом порог и увидел закопченную, давно не метенную избу с небеленой печью. Тут же лежали охапки дров. Убожество и нищета жилища проглядывали во всем. На некрашеном столе стояла кружка с водой и лежал кусок черного хлеба. Никакой другой пищи не было видно. Епископ Лука молился. Знаком руки он попросил гостя обождать. Минут через десять, совершив перед большой старинной иконой последний поклон, обернулся к гостю и сказал: «А теперь будем знакомиться».

Узнав, что женщины отказались стряпать для Владыки Луки и что стряпать, в общем, было и нечего, Константинов написал записки на две ближайшие фактории, чтобы впредь профессору продавали крупчатку, сахар, сушки, манную крупу. Оказалось, что у Владыки Луки не было и денег, и гость предложил ему сто рублей взаймы. Затем по дороге, по просьбе епископа Константинов сумел дать телеграмму его родным, хотя личные телеграммы в те годы не принимали.

Беседуя с Константиновым, Владыка Лука говорил ему о возможном возвращении в Туруханск (об этом хлопотал известный сибирский хирург проф. В.М.Мыт) и добавил: «Господь Бог дал мне знать: через месяц я буду в Туруханске». На лице Константинова отразилось недоумение, и Владыка, покачав головой, заметил: «Вижу, вижу, вы неверующий. Вам мои слова кажутся невероятными, но будет именно так». Через полторы недели Константинов вторично побывал в Плахине, но Владыки Луки к этому времени там уже не оказалось: ссыльного увезли в Туруханск.]

Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале Великого поста в Плахино приехал нарочный из Туруханска и привез мне письмо, в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Туруханск. Я не понимал, что случилось, почему меня возвращают в Туруханск, и узнал только вернувшись туда. Оказалось, что в туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали ко мне гонца в Плахино.

Обратный путь в Туруханск был не слишком трудным, и только в станке Афиногена мне пришлось испытать неприятности. Отвезти меня в станок, где жил Сталин, Афиноген послал одного из своих сыновей. Лошадь шла все время шагом, и ямщик не хотел погонять ее. Я не стерпел этого, вырвал из рук ямщика вожжи и стал хлестать лошадь. Ямщик соскочил с саней и побежал обратно. Мне ничего не оставалось делать, как повернуть лошадь и ехать шагом к избе Афиногена. Этот «истинный христианин» крайне грубо изругал меня, архиерея, но гнев его тотчас утих, когда он по-

лучил от меня золотую пятирублевую монету. Он дал мне пару хороших лошадей, а ямщиком — другого сына своего.

На одном из следующих станков я испытал поездку на собаках: шесть здоровенных сибирских псов были запряжены в нарты. Они бежали хорошо, но вдруг одна из них укусила другую, другая-третью, и все свалились в дерущуюся кучу. Ямщик соскочил и стал лупить собак деревянным шестом, который служил ему для управления собаками. Порядок был восстановлен, и собаки благополучно довезли нас до места назначения.

Первым, кто встретил меня в Туруханске с распростертыми объятиями и неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино.

Я опять начал работу в больнице. Уполномоченный ГПУ, с большой злобой и скрежетом зубов выславший меня из Туруханска на север вниз по Енисею за мое неподчинение, встретил меня изысканно вежливо, осведомлялся о моем здоровье и житье в Плахино.

Однажды случился пикантный инцидент. Уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время моего разговора с ним отворилась дверь, и в комнату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром.

Это мое второе пребывание в Туруханске длилось восемь месяцев: от Благовещения Пресвятой Богородицы до ноября.

[В то время Владыка Лука писал знаменитому физиологу, глубоко верующему человеку, академику Павлову:

«Возлюбленный во Христе брат мой и глубокоуважаемый коллега, Иван Петрович! Изгнанный за Христа на край света (три месяца прожил я на 400 верст севернее Туруханска) , почти совсем оторванный от мира, я только что узнал о прошедшем чествовании Вас по поводу 75-летия Вашей славной жизни и о предстоящем торжестве 200-летия Академии наук. Прошу Вас принять и мое запоздалое приветствие. Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И, кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословение мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас.

Сожалею, что не может поспеть к академическому торжеству приветствие мое.

Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Вами.

Смиренный Лука, епископ Ташкентский и Туркестанский (б. профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Ясенецкий-Войно) .

Туруханск. 28. 08. 1925».

Это письмо было написано на вырванном тетрадном листке, сверху чернилами поставлен крест. В ответ на поздравление епископа Луки И.П.Павлов написал в Туруханск:

«Ваше Преосвященство и дорогой товарищ! Глубоко тронут Вашим теплым приветом и приношу за него сердечную благодарность. В тяжелое время, полное неотступной скорби для думающих и чувствующих, чувствующих — по-человечески, остается одна жизненная опора — исполнение по мере сил принятого на себя долга. Всей душой сочувствую Вам в Вашем мученичестве. Искренне преданный Вам Иван Павлов».]

В середине лета, не помню точно, в какой форме, я имел, как мне казалось, предсказание от Бога о скором возвращении из туруханской ссылки. Я ждал с нетерпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями, и все оставалось по-прежнему. Я впал в уныние, и однажды в алтаре зимней церкви, которая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред запрестольным образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот против Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг я увидел, что изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул Свой пречистый лик от меня.

Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону. Как побитый пес пошел я из алтаря в летнюю церковь, где на клиросе увидел книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попалось мне на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобождения, которого я нетерпеливо ожидал.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на запрестольный образ, что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым взором.

Разве же это не чудо?!

ПЕРЕД ВТОРОЙ ССЫЛКОЙ

Приближался конец моей туруханской ссылки. С низовьев Енисея приходили один за другим пароходы, привозившие моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мной получивших тот же срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск. В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов.

Однажды вечером, в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти. Меня не вызывали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а пароход разводил пары. Первый протяжный гудок парохода... Я читаю четвертую кафизму Псалтири... Послед-

ние слова тридцать первого псалма поражают меня, как гром... Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе» (Пс.31;8—9).

И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе... Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает. Я слежу за ним с тихой и радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих. «Иди, иди, ты мне не нужен... Господь уготовал мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!»

Через три месяца, а не через год, Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск.

Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин. Санный путь по нему должен был установиться только в середине января. Только один из ссыльных — эсер Чудинов — был задержан при отходе последних пароходов и должен был ехать вместе со мной. К нему в ссылку приехала жена с десятилетней дочерью, которая внезапно умерла в Туруханске.

В последнее время я постоянно замечал в церкви стоявшего у двери Чудинова, который внимательно слушал мои проповеди. По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне сделали крытый возок. Настал долгожданный день отъезда... Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал и иногда даже служил. У церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа.

Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании Литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но когда, собираясь провожать меня, вошел в церковь, внезапно загорелась одна свеча в паникадиле, с минуту померцала и потухла.

Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи святого мученика Василия Мангазейского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма Тридцать первого: Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал.

А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.

В большом селе, не доезжая 400 верст до Енисейска, меня предупредили, что дальше ехать нельзя — опасно, так как на Енисее образовалась широкая трещина во льду, а у берегов вода широко вышла поверх льда, образовав так называемые «забереги», да и дороги в прибрежной тайге не было. Но мы все-таки поехали.

Доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра. Увидели, что в ней тонет лошадь с санями, которую тщетно старается вытащить бедная женщина. Помогли ей и вытащили лошадь с санями, а сами призадумались, что делать.

Мой ямщик, лихой кудрявый парень, а за ним и ямщик Чудинова не колебались. Они только сказали: «Держись покрепче!», стали во весь рост, дико заорали на лошадей и нахлестали их; лошади рванулись изо всей мочи — и перескочили через полынью, а за ними перелетели по воздуху и наши сани.

От Туруханска до Красноярска мы ехали полтора месяца. За день проезжали расстояние от станка до станка — в среднем сорок верст. Я был одет в меховые тунгусские одежды и ноги закрывал енотовой шубой. Однажды ямщик просил меня подержать вожжи, пока поправит упряжь на лошадях. На руках у меня были кроличьи рукавицы, но как только я вынул руки из-под шубы и взял вожжи, руки обожгло как огнем, так жесток был мороз.

В некоторых станках ко мне приходили мои прежние пациенты, которых я оперировал в Туруханске. Особенно запомнился старик-тунгус, полуслепой от трахомы, которому я исправил заворот век пересадкой слизистой оболочки. Результат операции был так хорош, что он по-прежнему стреляет белок, попадая прямо в глаз. Мальчик, оперированный по поводу крайне запущенного остеомиелита бедра, пришел ко мне здоровым. Были и другие подобные встречи.

Мы благополучно доехали до Енисейска, в котором духовенство, прежде бывшее сплошь обновленческим, но обращенное мною на путь правды перед моим отъездом в Туруханск, устроило мне торжественную встречу. Отслужили благодарственный молебен и, проехав еще триста тридцать верст, приехали в Красноярск, за два дня до праздника Рождества Христова.

В Красноярске в ожидании моего приезда осенью народ во множестве тщетно встречал каждый пароход с низовьев Енисея. И теперь встретить меня им не удалось.

Мы направились к епископу Амфилохию. Его келейник, монах Мелетий, был слеп на один глаз, вследствие центрального бельма роговицы, и надо было сделать ему оптическую иридэктомию [Иридэктомия — иссечение кусочка радужной оболочки.]. Я послал его к главному врачу больницы с письмом, в котором просил разрешения мне сделать эту операцию в глазном отделении. Просьбу эту охотно исполнили, и на другой день, приехав с Мелетием в больницу, я неожиданно увидел в глазном отделении целую толпу врачей, пришедших посмотреть на мою операцию.

Быстро покончив с иридэктомией, я выразил сожаление о том, что не могу показать врачам операции удаления слезного мешка, гораздо более интересной для них. Но тотчас мне сказали, что есть в больнице больной, ожидающий этой операции. Быстро приготовили его, и я рассказал врачам, как произвожу эту операцию. Я начал с подробного описания топографической анатомии слезного мешка, рассказал о своем способе регионарной анестезии и, начав операцию, шаг за шагом демонстрировал им все, что только что рассказал. Операция прошла без всякой боли и почти совсем бескровно. На другой день мы с Чудиновым должны были явиться в ГПУ, и в коридоре второго этажа ожидали вызова. Меня первым вызвали на третий этаж. Допрос вежливо начал молодой чекист, но вскоре вошел помощник начальника ГПУ, оборвал допрос и поручил его другому. Этот вынул допросный лист и стал спрашивать меня о моих строптивых и смелых пререканиях с туруханским уполномоченным ГПУ. Я отвечал так, что не оправдывался, а сам обвинял уполномоченного и председателя районного исполкома. Записывавший мои ответы чекист смутился и был в явном замешательстве.

Опять вошел помощник начальника ГПУ, через плечо допрашивавшего чекиста прочел его записи и бросил их в ящик стола. К моему удивлению, он вдруг переменил свой прежний резкий тон и, показывая в окно на обновленческий собор, сказал мне:

«Вот этих мы презираем, а таких как Вы — очень уважаем». Он спросил меня, куда я намерен ехать, и удивил меня этим. «Как, разве я могу ехать куда хочу?» — «Да, конечно». — «И даже в Ташкент?» — «Конечно, и в Ташкент. Только, прошу Вас, уезжайте как можно скорее». — «Но ведь завтра великий праздник Рождества Христова, и я непременно должен быть в церкви». На это с трудом согласился начальник, но просил меня непременно уехать после Литургии. «Вы получите билет на поезд, и Вас отвезут на вокзал. Пожалуйте, пожалуйте, мы отвезем Вас». Он очень вежливо провожает меня вместе с допрашивавшим чекистом вниз, в тот памятный мне двор, из которого одна дверь вела в большой подвал, загаженный испражнениями, в котором я и мои спутники содержались до отправки в Енисейск, а другая дверь вела в другой подвал, в котором при нас производились расстрелы.

В этом дворе начальник с изысканной вежливостью усадил меня в автомобиль, а чекисту велел проводить меня до квартиры, в которой я остановился.

Я по опыту знал, как опасно верить словам чекистов, и с тревогой ждал, куда повернет автомобиль в том месте, где дорога налево ведет к тюрьме, а дорога направо — к православному собору. Вблизи него чекист позвонил у ворот и вышедшей хозяйке сказал, чтобы она не заботилась о моей прописке. Вежливо откланявшись мне, он уехал, а я пошел через улицу в собор, при котором жил Преосвященный Амфилохий.

Уже в начале моей беседы с ним вошел с докладом монах Мелетий, говоря, что прибежал какой-то тяжело запыхавшийся господин и просит позволения видеть меня. Как я тотчас догадался, это был Чудинов, с тревогой бежавший за автомобилем, в котором везли меня, и как я, мучительно ожидавший, повернет ли машина направо к собору или пойдет налево — в тюрьму.

Получив разрешение от Преосвященного Амфилохия, в комнату вбежал Чудинов, взволнованный до крайности и, рыдая, бросился на колени к моим ногам. Получив благословение от меня и епископа Амфилохия, он просил нас обоих молиться об упокоении души его десятилетней дочери, скоропостижно скончавшейся в Туруханске.

После рождественской всенощной и Литургии, которую я служил совместно с Красноярским епископом Амфилохием, мне подали пароконный фаэтон из ГПУ, и с Чудиновым я отправился на вокзал. На полдороге вдруг нас остановил молодой милиционер, вскочил на подножку и стал обнимать и целовать меня. Это был тот самый милиционер, который вез меня из Туруханска в станок Плахино, за 230 верст к северу от Полярного круга.

На вокзале меня уже ждала большая толпа народа, пришедшая проводить меня.

В Ташкент я возвращался через город Черкассы Киевской области, где жили мои родители и старший брат Владимир. Из Красноярска я довольно благополучно доехал до Черкасс.

Я ехал вместе с Чудиновым, и в Омске мне надо было дать телеграмму в Черкассы. Остановка была короткая, а телеграф помещался на верхнем этаже, и я не успел сбежать вниз, как поезд тронулся дальше. Чудинов, по моей телеграмме, оставил мои вещи на следующей станции, где я и получил их, но со своим добрым спутником, ехавшим в Архангельскую область, я больше не встречался.

Трогательна была встреча моих престарелых родителей с сыном — профессором хирургии, ставшим епископом. С любовью целовали они руку своего сына, со слезами слушали панихиду, которую я служил над могилой умершей сестры моей Ольги.

Из Черкасс я, наконец, вернулся в Ташкент. Это было в конце января 1926 года. В Ташкенте я остановился в квартире, в которой жила София Сергеевна Белецкая с моими детьми, которых она питала и воспитывала, и обучала в школах во время моей ссылки.

Первыми пришедшими ко мне с поздравлениями были четыре главных члена баптистской общины. Они держались явно смущенно, а для меня была непонятна цель их визита. Позже я узнал, что они получили телеграмму от ленинградского баптистского пресвитера Шилова, в которой он поручал им приветствовать меня как нового брата баптистов. Пришлось, конечно, разочаровать их в этом через некоего Наливайко, прежде усердного прихожанина кафедрального собора, перешедшего потом в баптистскую общину.

В это время кафедральный собор был уже разрушен, и в церкви преп.Сергия Радонежского несколько раз служил ссыльный епископ, перешедший в обновленчество во время моей ссылки.

Протоиерей Михаил Андреев, разделявший со мною тяготы ссылки в Енисейский край и дальше в Богучаны и возвратившийся незадолго до меня, требовал, чтобы я освятил Сергиевский храм после епископа, перешедшего в обновленчество. Я отказался исполнить это требование, и это послужило началом тяжелых огорчений. Протоиерей Андреев вышел из подчинения мне и начал служить у себя на дому для небольшой группы своих единомышленников.

Он неоднократно писал обо мне Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию и даже ездил к нему, и сумел восстановить против меня Местоблюстителя, от которого в сентябре того же года я получил три быстро следовавших один за другим указа о переводе меня с епархиальной Ташкентской кафедры в город Рыльск Курс-

кой области викарием, потом — в город Елец викарием Орловского епископа и, наконец, в Ижевск епархиальным епископом.

Я хотел безропотно подчиниться этим переводам, но митрополит Новгородский Арсений, живший тогда в Ташкенте на положении ссыльного и бывший в большой дружбе со мной и моими детьми, настойчиво советовал мне никуда не ехать, а подать прошение об увольнении на покой.

Мне казалось, что я должен последовать совету маститого иерарха, бывшего одним из трех кандидатов на Патриарший престол на Соборе 1917 года. Я последовал его совету и был уволен на покой в 1927 году. Это было началом греховного пути и Божиих наказаний за него. Меня как епископа Ташкентского заменил митрополит Никандр, также бывший ташкентским ссыльным.

Занимаясь только приемом больных у себя на дому, я, конечно, не переставал молиться в Сергиевском храме на всех богослужениях, вместе с митрополитом Арсением стоя в алтаре.

[Владыка Лука жил неподалеку от Сергиевской церкви. В день, назначенный для записи больных, люди собирались под окнами с ночи. В пять утра начиналась запись, через полтора-два часа в списке на следующий месяц набиралось более четырехсот фамилий.

К.Ф.Панкратьева, пенсионерка из Ташкента, вспоминает следующий случай. Когда ей было шестнадцать лет, в диспансере ей сказали, что она больна туберкулезом легких. Это привело ее в смятение. Добрые люди посоветовали ей обратиться к епископу-профессору. Девушка долго не решалась записаться на прием к такому известному человеку. Воспитанная в семье неверующих, она не имела нательного креста. Ксения записалась на прием, но очередь ее дошла только через месяц. Доброжелательный доктор очень внимательно осмотрел и выслушал пациентку. Сказал, что легкие действительно слабые, но до туберкулеза далеко. Порекомендовал строгий режим питания, посоветовал поехать на кумыс. Спросил: «А есть ли у Вас средства на такую поездку?» Ксения не раз слышала, что Вла-

дыка Лука не только лечит, но и оказывает материальную помощь неимущим больным. Девушка поторопилась сказать, что деньги на лечение и поездку у нее есть, и Владыка отпустил ее, благословив на дорогу.

Однажды Владыка Лука заметил на ступеньках городской больницы девочку-подростка и маленького мальчика. Чуткий к чужим бедам, он тотчас заподозрил неладное и подошел к детям. Выяснилось, что их отец умер, а единственный в городе близкий человек — мать — в больнице и, очевидно, надолго. Лука повел детей к себе в дом, нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела их мать.

Девочка (ее звали Шура Кожушко) , которой было тогда пятнадцать-шестнадцать лет, стала помогать Владыке Луке на врачебных приемах. Она быстро освоила основы медицины и через год, не поступая ни в какое учебное заведение, стала хорошей медицинской сестрой. Владыка Лука постоянно посылал Шуру по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке. Одной из найденных ею больных сирот была Рая Пуртова.

Эта девочка приехала в Ташкент сразу после средней школы в надежде продолжить учебу. На беду она заболела воспалением легких, лежала одна в чужом доме, лечить и ухаживать за ней было некому. Рая была истощена. В то время, когда не применялись еще антибиотики, она вполне могла бы погибнуть. По просьбе епископа Луки в одной верующей семье девочке стали давать усиленное питание. Рая окрепла, встала на ноги. Несколько раз заходила она к спасшему ее врачу как пациентка, а потом подружилась с Шурой Кожушко и стала в доме своим человеком. Она с радостью разыскивала по поручению Владыки Луки таких же, как она сама, длительно болеющих бедняков. Тех, кого они с Шурой находили, Владыка Лука навещал потом сам, помогал деньгами. Дом на Учительской улице надолго стал для Раи самым дорогим для нее местом.

Окончив дела, девочки приходили в заставленный книжными полками кабинет Владыки Луки. Епископ сидел в кресле, девочки на скамеечках возле него. Они разговаривали о разных жизненных случаях, о прочитанных книгах. Рае запомнились слова, которые однажды произнес Владыка Лука: «Главное в жизни — всегда делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».

«Любой разговор как-то сам собой поворачивался так, что мы стали понимать ценность человека, важность нравственной жизни», — вспоминала потом Раиса Петровна. «Почему ты ко мне ходишь? — спросил однажды Владыка Раю. — Очевидно ты приходишь ко мне за лаской? В твоей жизни было, наверное, мало ласки...»

Жившие в Ташкенте узбеки очень уважали епископа-врача. Множество больных узбеков приходили в дом на Учительскую. Переводчиком была Шура, свободно говорившая по-узбекски. Все почитали Владыку Луку, к нему обращались и за разрешением семейных и бытовых конфликтов.

После Литургии епископа Луку обычно провожала из церкви большая толпа. Особенно изливалась людская любовь на Владыку в день его именин, 31 октября. В храме торжественно совершалось богослужение. Толпы верующих не вмещались под сводами Сергиевской церкви, заполняли церковный двор и даже часть Пушкинской улицы. От дома епископа в сторону храма на протяжении двух кварталов дорога была усыпана поздними осенними цветами. А во дворе дома, где жили Войно-Ясенецкие, от крыльца до ворот, стояли белые хризантемы в горшках.]

Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская Церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение: отслужить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить грудой на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре... Я не мог стерпеть разрушения храма... Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимо. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Божиих — врагов религии — и остановит разрушение храмов, колоссальной диавольской волной разлившееся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали.

23 апреля 1930 года я был в последний раз на Литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в этот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме.

В своей знаменитой пасхальной проповеди св.Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только «дела приемлет», но и «намерения целует». За мое намерение принять смерть мученическую да простит мне Господь Бог множество грехов моих!

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ССЫЛКА

23 апреля 1930 года я был вторично арестован.

[Городские власти хотели избавиться от Владыки Луки, епископа на покое, профессора, лишенного студенческой аудитории, ученого, чьи книги не печатались, хотели изгнать из города еще одного несломленного христианина. В 1929 году стали искать повод, чтобы выслать Владыку Луку. ГПУ не нуждалось в реальных нарушениях государственных законов, и вскоре предоставился повод для ареста влиятельного епископа, используя который можно было получить также некую политическую выгоду. Было сфабриковано нелепое обвинение епископа.

Профессор-физиолог И.П.Михайловский, потеряв в 1924 году сына, заболел буйным помешательством. Он просил, чтобы его убили; будучи ранее верующим человеком, он дошел до безумного ропота на Бога и хулы, изрубил топором иконы. Он отказался хоронить сына, заявил, что воскресит его, и занялся опытами с переливанием крови. Профессор пропитал формалином тело мальчика и поместил у себя на кафедре в шкафу, завернув в тростниковую циновку. Он покупал мертвому одежду, обувь, сладости. Михайловский стал грубым и жестоким, случалось, бил жену и детей. Супруга ушла от него. Через пять лет он женился на девушке двадцати лет и обвенчался с ней в церкви. Вскоре несчастный профессор застрелился.

В тот же день его молодая вдова пришла к епископу Луке, рассказала о самоубийстве и со слезами просила Владыку ходатайствовать, чтобы Михайловского отпели и похоронили по-церковному. Владыка Лука не был правящим архиереем, поэтому он и не мог дать разрешение на такие похороны. Пожалев несчастную женщину, он написал записку митрополиту Арсению. Владыка Арсений ответил: «По прежним законам требовалось врачебное удостоверение, удостоверяющее психическую ненормальность застрелившегося, в каковом случае возможно церковное погребение». Епископ Лука написал на листочке с именной печатью: «Удостоверяю, что лично мне известный профессор Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несомненной душевной болезни, от которой страдал он более двух лет. Д-р мед.Епископ Лука. 5.VIII.1929».

Советский следователь, ведущий дело Михайловского, предпочитал по политическим причинам иметь дело не с самоубийством, а с убийством, и была обвинена вдова профессора. В печати появились фельетоны об этой трагедии, где в качестве причины убийства указывалась религиозность второй жены Михайловского, якобы, ярого атеиста, и делались недвусмысленные политические намеки. Делом заинтересовались и в Москве, оно было направлено на доследование, в ГПУ решили превратить его в дело политическое и антицерковное. К нему был привлечен и Владыка Лука. Данное им удостоверение стало основным использованным для обвинения документом.

Епископ Лука из камеры послал следователю записку: «Прошу Вас принять к сведению, что я совершенно не верю в серьезность моего обвинения по делу Михайловского. Причиной моего ареста, конечно, послужил мой ответ п-ру Г. (Гольдовскому) при его последнем визите ко мне...» На эту, как и на другую, записки ответа не последовало. Следователь ГПУ одного за другим вызывал в свой кабинет крупнейших медиков города, желая получить «научно-обоснованные» показания о конфликте Войно-Ясенецкого с «материалистом» Михайловским. Но учёные упорно говорили о психической несостоятельности Михайловского, а об епископе Луке давали отзывы очень уважительные и даже почтительные. Не было никакого конфликта и быть не могло.

Некий помощник прозектора на кафедре проф.Михайловского, безграмотный деревенский парень, который, однако, был партийным активистом, привлеченный к делу догадливым новым следователем, дал нужные показания, в которых, в частности, говорилось: «Опыты профессора И.П.Михайловского резко бьют по религиозным устоям, жена профессора религиозная, выданная заведомо ложная справка о «душевном расстройстве» профессора Михайловского профессором-медиком Ясенецким (Лукой) может быть истолкована во 1-х с целью скрытия уголовного преступления, убийства Михайловского, выставив на первый план самоубийство на основе душевного расстройства, имевшегося уже в течение двух лет, — убийство с целью устранения Михайловского, исходя из охраны религиозных устоев... и т.д.»

Профессора Слоним и Рагоза подали следователю Плешанову официально заверенную справку о том, что В.Ф.Войно-Ясенецкий страдает склерозом аорты, кардиосклерозом и значительным расширением сердца. Лучшие терапевты Ташкента писали, что «Войно-Ясенецкий по роду своего заболевания нуждается в строгом покое и длительном систематическом лечении». О том же писал доктор медицины В.А.Соколов, лечивший Владыку от декомпенсации сердца. Заявлениям врачей не уделили никакого внимания. Дочь подследственного Елена Валентиновна просила разрешения повидать отца, чтобы передать ему необходимые сердечные лекарства. Последовала резолюция: «Оставить без последствий». Епископ Лука просил следователя разрешить ему получать научные книги. На заявлении пометили: «Отказать». В переполненной камере, где нечем дышать, Владыка Лука потерял сознание после допроса. Тюремная администрация сделала вид, что ничего не произошло.

Через несколько дней после обморока Владыку Луку поднимают с нар и ведут в кабинет следователя Плешанова. Ему читают вновь составленное обвинительное заключение:

«Город Ташкент, 1930 год, июля 6 дня

...И принимая во внимание, что Войно-Ясенецкий... изобличается в том, что 5 августа 1929 года, т.е. в день смерти Михайловского, желая скрыть следы преступления фактического убийцы Михайловского — его жены Екатерины, выдал заведомо ложную справку о душевно-ненормальном состоянии здоровья убитого, с целью притупить внимание судебно-медицинской экспертизы, 2) что соответственно устанавливается свидетельскими показаниями самого обвиняемого и документами, имевшимися в деле, 3) что преступные деяния эти предусмотрены ст.ст.10-14—пункт 1 ст.УК УзССР

. . . ПОСТАНОВИЛ

гр.Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича привлечь в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в укрывательстве убийцы, предусмотренном ст.ст.10-14—186 п.1 УК УзССР.

Уполномоченный Плешанов

Согласен Нач.СО Бутенко

Утверждаю СОУ Каруцкий»

Владыка Лука стоя слушает весь этот вздор. С него градом льет пот, от слабости дрожат руки, подгибаются колени, но он находит в себе достаточно сил, чтобы, обмакнув в чернила перо написать под печатным текстом: «Обвинение мне предъявлено 13 июня 1930 года. Виновным себя не признаю». Через несколько часов епископ Лука был уже в тюремной больнице. У него окончательно сдало сердце.

Владыка Лука провел год в тюремных камерах, лишенный книг, передач с воли, свиданий с близкими. Следствие было закончено, но в ГПУ еще что-то согласовывали. Зимой в душных тюремных камерах стало сыро и холодно. Архиепископ Лука болел. Его несколько раз отвозили в больницу, затем опять на допросы. Затем из внутренней тюрьмы ГПУ перевели в общую. Только 15 мая следующего, 1931, года последовал протокол Особого Совещания коллегии ГПУ. Три неизвестных человека заочно постановили: «...Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича выслать через ПП ГПУ в Северный край сроком на три года, считая с 6 мая 1930 года». Екатерина Михайловская лишалась проживания в 12 пунктах и высылалась в Читинский или Омский район сроком на три года.

Владыка Лука трижды писал следователю и его начальству и просил заменить ему ссылку в Сибирь высылкой в Среднюю Азию или Китайский Туркестан, но ему было отказано.

В «рабоче-крестьянской» прессе дело Михайловского получило небывалое освещение. По «социальному заказу» был написан целый ряд художественных произведений: роман Борисоглебского «Грань», пьеса Тренева «Опыт», драма Б.Лавренева «Мы будем жить!» — в каждой из которых гениальный ученый-материалист, приблизившийся в своих открытиях к достижению оживления умерших становился «жертвой религиозного фанатизма». Ученые даже выступали в печати по поводу абсолютной ненаучности этих сочинений.]

На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отречения от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Обычно на заявления о голодовке не обращают внимания и оставляют заключенных голодать в камере, пока состояние их не станет опасным, и только тогда переводят в тюремную больницу. Меня же послали в больницу уже рано утром после подачи заявления о голодовке. Я голодал семь дней. Быстро нарастала слабость сердца, а под конец появилась рвота кровью. Это очень встревожило главного врача ГПУ, каждый день приезжавшего ко мне. На восьмой день голодовки, около полудня я задремал и сквозь сон почувствовал, что около моей постели стоит группа людей. Открыв глаза, увидел группу чекистов и врачей и известного терапевта, профессора Слоним. Врачи исследовали мое сердце и шепнули главному чекисту, что дело плохо. Было приказано нести меня с кроватью в кабинет тюремного врача, где не позволили остаться даже профессору Слоним.

Главный чекист сказал мне: «Позвольте представиться — Вы меня не знаете — я заместитель начальника Средне-Азиатского ГПУ. Мы очень считаемся с Вашей большой двойной популярностью — крупного хирурга и епископа. Никак не можем допустить продолжения Вашей голодовки. Даю Вам честное слово политического деятеля, что Вы будете освобождены, если прекратите голодовку». Я молчал. «Что же Вы молчите? Вы не верите мне?» Я ответил: «Вы знаете, что я христианин, а закон Христов велит нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю Вам».

Меня отнесли не на прежнее место, а в большую пустую больничную камеру. Загремел замок, и мне казалось, что я остался один. Но вдруг услышал глухие, все усиливающиеся рыдания и спросил: «Кто плачет? О чем плачете?» И услышал прерывающиеся рыданиями слова: «Как же мне не плакать, видя Вас? Ведь мы уже давно напряженно следим за Вашей судьбой и высоко ценим Ваш подвиг. Я член центрального комитета партии социалистов-революционеров».

Не успел он кончить, как загремел замок и в камеру вошел начальник секретного отдела ГПУ. Он сказал эсеру, что его повезут в Самарканд, где он был арестован, и там освободят. Даже опытный в делах ГПУ эсер поверил этому. Он голодал уже девятнадцатый день и дошел до того состояния расслабления воли к сопротивлению, жалости к себе и страха смерти, которые неизбежны у долго голодающих. Его на несколько дней оставили в Самарканде и, конечно, не освободили, а увезли в Москву. Не знаю, что было дальше с ним.

Меня, конечно, тоже не освободили, вопреки честному слову «политического деятеля».

Дня два-три я получал обильные передачи от своих детей, а потом отказался от них и возобновил голодовку. Она продолжалась две недели, и я дошел до такого состояния, что едва мог ходить по больничному коридору, держась за стены. Пробовал читать газету, но ничего не понимал, ибо точно тяжелая пелена лежала на мозгу.

Опять приехал ко мне помощник начальника секретного отдела и сказал: «Мы сообщили о Вашей голодовке в Москву, и оттуда пришло решение Вашего дела, но мы не можем объявить его Вам, пока Вы не прекратите голодовку». Еще теплился у меня остаток веры в слова чекистов, и я согласился прекратить голодовку. Тогда мне

объявили, что я должен ехать в город Котлас не по этапу, а свободно; но и на этот раз я был обманут. Приблизительно через неделю я был отправлен по этапу и ехал в арестантском вагоне до Самары, где нас оставили в тюрьме приблизительно на неделю.

[Прихожанка Успенского кафедрального собора г.Ташкента А.А.Медынцева вспоминает: «Владыка Лука всегда говорил, что никого нельзя осуждать. Когда кончилась служба, он сказал: «Братия и сестры, я сегодня не молился о вас, а молился о согрешившем собрате. Но вам всем я говорю: никогда не осуждайте духовенство. Лучше осудить весь мир, чем одно духовное лицо». В эту ночь его арестовали...» Мать Анны Александровны рассказывала ей, как пересылали Владыку Луку: «Нас собралось несколько человек; шли и издали смотрели: его, как хулигана, дергали за бороду, плевали ему в лицо. Я как-то невольно вспомнила, что вот так же и над Иисусом Христом издевались, как над ним».]

Воспоминания об этой неделе остались у меня мрачные и тяжелые.

Пересадка в Москве в другой арестантский вагон и путь дальнейший до города Котласа.

В вагоне было такое множество вшей, что я утром и вечером снимал с себя все белье и каждый день находил в нем около сотни вшей; среди них были никогда не виданные мною очень крупные черные вши. В пути мы получали по куску хлеба и по одной сырой селедке на двоих. Я их не ел.

По приезде в Котлас нас поместили за три версты от него, на песчаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название «Макариха», состоявший из двухсот бараков, в которых целыми семьями жили «раскулаченные» крестьяне очень многих русских губерний. Двускатные досчатые крыши бараков начинались прямо от песчаной земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во время дождей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды.

Однажды утром я был свидетелем того, как на срединную площадку лагеря согнали двести заключенных и после регистрации погнали на баржи, которые повел небольшой пароход по реке Вычегде, впадающей недалеко от Котласа в Северную Двину.

Пустынная Вычегда течет между дремучими необитаемыми лесами и, как я позже узнал, все отправленные на баржах были высажены в дремучем лесу в нескольких десятках верст от Котласа, им дали топоры и пилы и приказали строить избушки. Не знаю, что было дальше с ними. Вскоре меня перевели из Макарихи в Котлас и предложили вести прием больных в амбулатории, а несколько позже перевели как хирурга в котласскую больницу.

Перед самым моим переводом в Котлас в Макарихе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Жители Котласа мне рассказали, что год тому назад в Макарихе тоже свирепствовали сыпной и другие тифы, и эпидемии чуть ли не всех детских заразных болезней. В это страшное время на Макарихе каждый день вырывали большую яму и в конце дня в ней зарывали около семидесяти трупов.

Очень недолго пришлось мне оперировать в котласской больнице, и скоро мне объявили, что я должен ехать на пароходе в город Архангельск. В первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным. Не только врачи больницы, но, к удивлению моему, даже епископ Архангельский, встретили меня довольно недружелюбно.

Мне предоставили работать по хирургии в большой амбулатории.

[В это время в Архангельске были закрыты все храмы. В больнице, где работал Владыка Лука, помещение для амбулаторного приема было маленьким, очень тесным, полутемным. В коридоре всегда теснилась очередь, женщины ругались, плакали дети. Печи дымили, но тепла давали мало. Не хватало ваты, бинтов, антисептиков, даже бумаги.

Рецепты писали на клочках, а истории болезни — на газете, фиолетовыми чернилами поперек печатного текста. Больных всегда было много: к хирургу записывалось по сорок человек и более. Эту вторую ссылку Владыка Лука считал легкой.]

Там я имел возможность видеть недостаточно радикально оперированных по поводу рака грудной железы женщин, и потому, когда ко мне пришла больная с раком груди, я не послал ее в больницу, а решил оперировать ее амбулаторно и сделал очень радикальную операцию. Узнав об этом, больничные врачи отправились с жалобой на меня к заведующему облздравотделом, но тот только спросил у них: «Так что же операция прошла благополучно, больная жива, никаких осложнений нет? Так что же еще нужно?»

Живя в Архангельске, я заметил у себя в твердую бугристую опухоль, возбуждавшую подозрение о раке, и сообщил об этом начальнику секретного отдела, прося разрешения поехать в Москву для операции. Он сделал запрос в Москву, и через две недели было получено разрешение мне ехать на операцию, но не в Москву, а в Ленинград. Я был этим удивлен, но принял направление в Ленинград, как путь, указанный мне Богом.

В вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ленинград пригласил меня в свою семью, избавив меня от затруднений в незнакомом городе.

Он повез меня далеко на Васильевский остров в большую клиническую больницу, в хирургическое отделение профессора Н.Н.Петрова, крупнейшего специалиста по онкологии. Профессор Петров отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне операцию. Вырезанная опухоль оказалась доброкачественной.

По выписке из больницы я отправился в Ново-Девичий монастырь, уже закрытый, и был весьма любезно принят митрополитом Серафимом, жившим там.

Из клиники меня провожал в монастырь мой бывший ученик по хирургии доктор Жолондзь. Мы беседовали с ним на медицинские темы, и я был очень далек от сколько-нибудь мистических мыслей и настроений. Но вот что случилось дальше. К митрополиту я приехал в субботу, незадолго до всенощной, и отправился в большой монастырский храм в самом обыкновенном настроении. Служил иеромонах, а я стоял в алтаре. Когда приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то непонятное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огромной силы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру, — «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?.. Паси овцы Моя...» (Ин.21:16) — я воспринимал с неска-занным трепетом и волнением, как обращение не к Петру, а прямо ко мне. Я дрожал всем телом, не мог дождаться до конца всенощной, пошел к митрополиту Серафиму и рассказал ему о случившемся. Он с большим вниманием слушал меня и сказал, что и в его жизни бывало подобное.

Еще в течение двух—трех месяцев всякий раз, когда я вспоминал о пережитом при чтении одиннадцатого Евангелия, я снова дрожал, и градом лились слезы из глаз.

Довольно скоро после моего возвращения из Ленинграда в Архангельск меня вызвал в Москву особоуполномоченный Коллегии ГПУ, и по приезде моем в Москву он в течение трех недель ежедневно беседовал со мною очень долго. Ему было поручено пересмотреть мое дело, так как, по его словам, в Ташкенте меня судили «меднолобые дураки». Было понятно, что ему было поручено основательно изучить меня. В его словах было много лести, он всячески превозносил меня. Он обещал мне

хирургическую кафедру в Москве, и было вполне понятно, что от меня хотят отказа от священнослужения.

Как я раньше говорил, перед вторым арестом я был уволен на покой Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Незаметно для меня, медовые речи особоуполномоченного отравляли ядом сердце мое, и со мною случилось тягчайшее несчастье и великий грех, ибо я написал такое заявление: «Я не у дел как архиерей и состою на покое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение, и потому, если мой священный сан этому не препятствует, я хотел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епископа я никогда не сниму».

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление Самого Господа Иисуса Христа «Паси агнцы Моя... Паси овцы Моя...»

Только в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне было крайне трудно.

После моего заявления, копию которого я оставил митрополиту Сергию, меня не только не освободили досрочно, как это бывает с ссыльными, вызванными к особоуполномоченному, но вернули в Архангельск и прибавили еще полгода к сроку моей ссылки.

Только в конце 1933 года я был освобожден и уехал в Москву. Господу Богу было, конечно, известно, что я затеваю новый тяжко греховный шаг, и Он предупредил меня крушением поезда, которое, к сожалению, только напугало меня, но не образумило. В Москве первым делом явился я в канцелярию Местоблюстителя, митрополита

Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех непослушанием Христову повелению: Паси овцы Моя — страшным ответом: «Нет».

Несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и написал об этом митрополиту Арсению, но из ответа его понял, что он вовсе не обрадуется моему приезду.

Еще до окончания моей архангельской ссылки я послал наркому здравоохранения Владимирскому письмо с просьбой предоставить мне возможность заняться в специальном исследовательском институте разработкой гнойной хирургии. На погибель себе я от митрополита Сергия отправился в Министерство Здравоохранения, чтобы лично ходатайствовать об этом. Нарком Владимирский меня не принял, а отправил к своему заместителю. Я просил заместителя об организации для меня специального научно-исследовательского Института гнойной хирургии. Он очень сочувственно отнесся к моей просьбе и обещал поговорить о ней с директором института экспериментальной медицины Федоровым, который должен скоро приехать. На радость диаволу, на погибель себе, я очень обрадовался этому, но Бог, хранивший меня и направлявший мои пути, сохранил меня от гибели, ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом.

Мне некуда было деваться, но на обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым. Без всякой разумной цели я последовал этому совету и поехал в Феодосию. Там я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом, питался в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина и наконец принял новое бестолковое решение — вернуться в Архангельск. Там месяца два снова принимал больных в амбулатории. В Архангельске открывался в это время медицинс-

кий институт, и мне предложили кафедру хирургии. Я отказался и, немного опомнившись, уехал в Ташкент.

Но оставаться в Ташкенте, мешая митрополиту Арсению, нельзя было. Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице.

Там я тоже чувствовал, что благодать Божия оставила меня. Мои операции бывали неудачны. Я выступал в неподходящей для епископа роли лектора о злокачественных образованиях и скоро был тяжело наказан Богом. Я заболел тропической лихорадкой Папатачи, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза.

Уехав в Ташкент, я получил заведование маленьким отделением по гнойной хирургии на двадцать пять коек при городской клинической больнице. Позже это отделение было расширено до пятидесяти кроватей.

Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста Гопена, которой излечивались от 60 до 80 % больных отслойкой сетчатки. Эта операция получила скоро большое распространение во многих странах, и в Москве ее делал профессор Одинцов. Я оставил работу по гнойной хирургии и поехал в Москву, в клинику Одинцова. Он дважды сделал мне операцию Гопена, ибо в первый раз неточно определил все места отслойки сетчатки. Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет.

Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся...

Непостижимо для меня, что этот страшный сон не образумил меня. По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойнохирургическом отделении, работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах.

[После того, как Владыке Луке второй раз оперировали больной глаз, он узнал, что с его сыном Михаилом случилось несчастье: поезд, на котором он ехал из Ленинграда в Москву, потерпел крушение. Михаил Войно-Ясенецкий получил несколько ран, в том числе тяжелейший перелом ноги. Его доставили в одну из больниц Ленинграда. Епископ Лука, не закончив лечение, поспешил в Ленинград, надеясь помочь сыну, в результате недолеченный глаз погиб окончательно.

В Ташкенте в 1935 году Владыка Лука жил неподалеку от больницы Полторацкого. Рано утром к его домику подъезжала легковая машина. Он ехал в церковь, и автомобиль ждал его у церковной ограды до окончания службы. Затем Владыка Лука ехал в Институт неотложной помощи, третьим корпусом которого он руководил. Так начинался день, наполненный операциями, консультациями, конференциями. После работы в операционной и над трупами — чтение лекций в Институте усовершенствования врачей. В субботу, в воскресенье и по праздникам за Владыкой Лукой присылали из храма запряженную лошадью линейку.

Множество врачей с радостью учились у епископа Луки. Профессор требовал, чтобы врачи всегда делали все возможное, чтобы спасти больного, говорил, что они не имеют права даже думать о неудаче. Епископа-хирурга всегда

возмущали случаи непрофессионализма, невежества во врачебной работе, от которых страдали люди и которые в советской медицине, к сожалению, нередки. Владыка Лука не терпел равнодушия к медицинскому долгу.

Однажды епископу Луке пришлось лететь в Сталинабад, чтобы срочно оперировать умирающего, который был видным партийцем. После этого сталинабадские чиновники предлагали ссыльному епископу остаться работать у них, но он согласился приехать только в том случае, если в городе построят храм. На это власти не пошли.

В Наркомздраве и в Хирургическом обществе хорошо знали, что Владыка Лука лечил ташкентских и сталинабадских чиновников, и, несмотря на то, что на ссыльного епископа многократно клеветали, арестован он тогда не был. В «Правде Востока» в том же году писали, что «Наркомздрав Узбекистана утвердил проф.В.Ф.ВойноЯсенецкого в ученой степени доктора медицинских наук без защиты диссертации. Наркомздрав принял во внимание 27-летнюю деятельность Войно-Ясенецкого и его заслуги в области гнойной хирургии. Диссертация, которую он защищал в 1916 году, до сих пор не утратила своего значения...» В действительности врачебная работа хирурга продолжалась уже более 33 лет. Наркомздрав почему-то не засчитал ему шесть лет ссылок и тюрем...]

И не раз мне приходила мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии».

В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды.

10 февраля 1936 года скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг митрополит Арсений. С Преосвященным Арсением у меня были самые близкие и дружеские отношения. Он любил моих детей и Софию Сергеевну и часто бывал у них. Он по-

дарил мне две свои фотокарточки, на одной из которых написал: Жертве за жертву (Флп.2;17), а на другой: тобою, брат, успокоены сердца святых (Флм.1;7). Снимался и вместе со мной. Он очень внимательно слушал мои проповеди и высоко ценил их. О себе он говорил, что исполнил все, предназначенное ему Богом, и потому ждал смерти.

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Через год, в 1937 году, начался страшный для Святой Церкви период — период власти Ежова как начальника Московского ГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех, кого подозревали во вражде к советской власти. Конечно, был арестован и я.

[Накануне ареста у Владыки Луки был обыск. Он происходил, как обычно, ночью. Пришли несколько человек в гражданском, милиционер, дворник. Сняли иконы, рылись в ящиках стола и шкафах. Молодой чекист распотрошил шкатулку с письмами покойной Анны Ланской. Владыка Лука сидел в углу, не произнося ни слова. В общую кучу на середину комнаты летели книги, одежда, медицинские рукописи. Молодой чекист попросил разрешения закурить. Епископ ответил; «Вы роетесь в письмах моей жены, вы совершаете неизвестно что в моем доме, так делайте же и дальше, что хотите...»

В это время Владыке Луке исполнилось шестьдесят лет, и левый глаз у него полностью ослеп.]

Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен, так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем ни ночью.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине извиваются змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, конечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребовал вызвать начальника Секретного отдела и, когда он пришел, сказал, что подпишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и крепко ударив по спинке его. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невыполнимо в условиях ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул и не помню, долго ли спал.

Меня уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием.

Потерпев фиаско со своим почти двухнедельным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ. Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и, когда нас выпустили в уборную, я упал в обморок на грязный и мокрый пол. В камеру меня принесли на руках. На другой день меня перевезли в «черном вороне» в центральную областную тюрьму. В ней я пробыл около восьми месяцев в очень тяжелых условиях.

[Свидетельство о пребывании там Владыки Луки оставил двоюродный брат афганского эмира Мухаммад Раим (Раим Омарович Мухаммад) , мусульманин, бежавший на советскую территорию во время мятежа в Кабуле и арестованный по обвинению в шпионаже. В 1938 году он был в заключении в областной тюрьме, в седьмой камере второго корпуса вместе с Владыкой Лукой.

Мухаммад Раим с уважением рассказывает о православном епископе. По его воспоминаниям, в камере сидели вместе «белые» и «красные» генералы, секретари обкомов, члены ЦК, профессора, кадеты, анархисты, коммунисты и беспартийные. Часто там происходили споры, звучали взаимные обвинения. Наиболее рьяные атеисты пытались втянуть в спор «несознательного и реакционного» епископа, но Владыка отказывался спорить о вере. В своих медицинских лекциях (такие лекции читали и другие профессора) он не касался вопросов политики. В камере был со всеми ровен и сдержан, готов был любому оказать медицинскую помощь, мог поделиться и пайкой хлеба. Относились к Владыке Луке в камере в общем уважительно. Даже начальство его выделяло: Владыку освобождали от мытья сортиров и выносов параши. «Он был такой человек, что нельзя было к нему относиться иначе», — поясняет Мухаммад Раим.

Епископ Лука много ему рассказывал о своей прошлой жизни. Запомнилась история о том, как в Сибири пришлось делать полостную операцию крестьянину перочинным ножом, а рану зашивать женским волосом, причем нагноения не было.

Мухаммад Раим рассказывал, что из тюрьмы Владыка Лука написал наркому обороны К.Е.Ворошилову о своей книге, о том, что она необходима нашей родине в мирное время, но еще больше в случае войны. Он не просил себе свободы, но хотел только получать из дома научные материалы и хотя бы на два часа в день уединяться для работы...

Владыка Лука открыто исповедовал свою веру. Не таил и того, что преследуют его за нее; говорил: «Мне твердят: сними рясу — я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мной до самой смерти». И еще говорил: «Не знаю, что они от меня хотят. Я верующий. Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель Церкви. Кому от этого плохо? Как коршуны нападают на меня работники ГПУ. За что?»

В камере, где сидел Владыка Лука, повелось так, что некоторые заключенные, прежде чем идти на допрос, подходили к епископу под благословение. Об этом донесли, и Владыка был вызван в тюремную больницу, где доктор Обоев долго уговаривал его снять рясу и вообще «не привлекать к себе излишнего внимания». Обоев признавался потом своему знакомому, что это поручение начальника тюрьмы выполнить ему не удалось. Епископ Лука корректно, но твердо заметил коллеге, что тот взял на себя миссию не по силам.

Профессор-дерматолог из Ташкента А.А.Аковбян, когда-то слушавший лекции профессора Войно-Ясенецкого в университете, а впоследствии оказавшийся в одной камере с Владыкой, отмечал, что пережитые епископом Лукой скорби нисколько не подавили его, но напротив, утвердили и закалили его душу. Владыка дважды в день вставал на колени, обратившись к востоку, и молился, не замечая ничего вокруг себя. В камере, до отказа наполненной измученными, озлобленными людьми, неожиданно становилось тихо. Все окружавшие его люди, а среди них были и мусульмане, и неверующие, начинали говорить шепотом, и как-то сами собой разрешались только что раздиравшие людей ссоры.

Во время раздачи утренней пайки, когда атмосфера в камере накалялась до предела, Владыка Лука обычно сидел в стороне, и в конце концов всегда кто-нибудь протягивал ему ломоть хлеба ничуть не хуже, чем те, что достались другим, а иногда даже и горбушку. Позже, в начале 1939 года, по окончании ежовщины, были разрешены передачи. По словам Армаиса Аристагесовича, получая посылки, Владыка все до крохи раздавал сокамерникам.

Владыка Лука никогда не жаловался и никогда не рассказывал о возводимых на него обвинениях. Не жаловался и после тринадцатисуточного допроса конвейером. Рассказывают, что больше тринадцати суток никто не выдержи-

вал. После «конвейера» Владыку приволокли в камеру волоком. Во время одного из таких допросов, по свидетельству дочери епископа Луки Елены Валентиновны Жуковой-Войно, в следовательскую комнату несколько раз врывался чекист, пестро наряженный шутом, который изрыгал отвратительные ругательства и оскорбления, глумился над верой, предсказывал епископу ужасный конец.

Только уходя на этап, по воспоминаниям А.А.Аковбяна, Владыка впервые обратился к сидевшим с ним ташкентским врачам и ученым: попросил — кому Бог пошлет выйти на волю, пусть похлопочет вместе с другими профессорами о смягчении его участи. «Ведь я ничего дурного не сделал. Может быть, власти прислушаются к вашим просьбам...» Полгода спустя, летом 1940 года Армаис Аристагесович передал эту просьбу профессору М.И.Слониму. Но старый друг Владыки Луки, теперь уже орденоносец, депутат, заслуженный врач, замахал испуганно руками: «Что вы, что вы, нет, нет...»

Елена Валентиновна рассказывает, что почти два года после ареста Владыки Луки его дети ничего о нем не знали. Первые вести просочились из тюремной больницы: папа лежит с отеками на ногах; из-за голодовок сдало сердце. Потом родственникам разрешили приносить передачи. Летом 1939 года, стоя у железных ворот тюремного двора, Елена Валентиновна через пробитую гвоздем дырочку дважды видела отца во время арестантской прогулки. Знакомый арестант-перс, неся котел с баландой, кричал громко: «Дорогу! Дорогу!», а проходя мимо Елены шептал: «Он здоров, здоров». Затем она узнала, что Владыка Лука объявил голодовку и помещен в больницу. Однажды дочь получила от отца записку: «Через сутки буду дома». Ни через сутки, ни через неделю домой он не пришел. Очередная переданная больничным санитаром записка сообщала: «Меня обманули, не выпускают, возобновил голодовку». Голодал он в тот раз восемнадцать дней.]

> Большая камера наша была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них.
>
> Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо. До сих пор помню обед в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы.

Не помню, по какому поводу я попал в тюремную больницу. Там с Божией помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжело больному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни. Я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как найдет он при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все, написанное в моем письме.

Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого на наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика.

К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрьме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже. Был повторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший его чекист заснул. Вошел начальник Секретного отдела и разбудил его. Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый со мной, стал бить меня по ногам своей ногой, обутой в кожаный сапог. Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел низко опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной. По их приказу меня отвели в подвал ГПУ и посадили в очень тесный карцер. Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень большие кровоподтеки на моих ногах и спросили, откуда они взялись. Я ответил, что меня бил ногами такой-то чекист. В подвале, в карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях. Позже я узнал, что результаты моего первого допроса о шпионаже, сообщенные в московское ГПУ, были там признаны негодными, и приказано было произвести новое следствие. Видимо, этим

объясняется мое долгое заключение в областной тюрьме и второй допрос конвейером.

Хотя и это второе следствие осталось безрезультатным, меня все-таки послали в третью ссылку в Сибирь на три года.

Везли меня на этот раз уже не через Москву, а через Алма-Ату и Новосибирск. По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго «заговаривал мне зубы», пока за его спиной два других жулика опустошали мой чемодан.

В Красноярске нас недолго продержали в какой-то пересылочной тюрьме на окраине города и оттуда повезли в село Большая Мурта, около ста тридцати верст от Красноярска.

[В районном центре Большая Мурта на Енисейском тракте перед войной было три с половиной тысячи жителей. В журнале приема больных Владыка Лука записывал их «земледельцы».

Главврач районной больницы А.В.Барский, которому в то время было двадцать шесть лет, вспоминает о том, как поздним вечером в начале марта епископ Лука пришел в его больницу: «Вошел высокого роста старик с белой окладистой, бородой и представился: «Я профессор Войно-Ясенецкий». Эта фамилия мне была известна только по книжке «Очерки гнойной хирургии». Он мне сказал, что приехал только что из Красноярска на подводах в составе очень большой группы бывших заключенных, жертв 1937 года, которые посланы в Большемуртинский район на свободное поселение... Он, как хирург решил прежде всего обратиться в районную больницу, просил меня обеспечить ему только белье и питание и обещал мне помогать в хирургической работе. Я был несколько ошеломлен и обрадован такой помощью и такой встречей».

Доктор Барский говорил, что за время совместной работы он получил от профессора Войно-Ясенецкого по существу целый практический курс хирургии. С большим трудом удалось ему получить разрешение на работу в больнице ссыльного епископа-профессора.

«...Заведующая райздравом, — вспоминает Барский, — была очень энергичная женщина, но безо всякого медицинского образования и почти совершенно безграмотная, умевшая только подписывать свою фамилию. Вероятно, тогда такие случаи были нередки. Когда я рассказал о том, что вот у меня имеется такой профессор, она замахала на меня руками и сказала, что нет, нельзя допустить, чтобы он работал в районной больнице».

Доктор Барский пошел к председателю райисполкома, но ничего не добился, потом к секретарю райкома партии; тот, посоветовавшись с начальником районного отдела НКВД, наконец решил, что под наблюдением товарища Барского ссыльный профессор работать в районной больнице все-таки может. Доктор Барский вынужден был, не зачисляя профессора в больничный штат, выписывать ему двести рублей за счет пустовавших ставок то ли санитарки, то ли прачки. Владыка Лука мог принимать больных только по направлению главврача.

Жители Мурты вспоминают, что ссыльный епископ жил очень бедно, даже недоедал, «почету ему не было». Как и к другим ссыльным, к Владыке Луке относились плохо.

Хирург Б.И.Хоненко, работавший в Мурте после войны, слышал от старых сотрудников, что жить профессору пришлось в больнице в крохотной комнатушке рядом с кухней. Жил очень скромно. Сотрудники его любили, и повариха Екатерина Тимофеевна старалась принести профессору что-нибудь повкуснее, но он упрашивал ничего не носить. Детям Владыка Лука писал: «Денег не присылайте... Сластей и съестного не присылайте».

Санитарка Т.И.Стародубцева вспоминает: «Мы-то, сестры и санитарки, его любили. Обида профессора была не от нас».

С большой любовью вспоминает о епископе-профессоре санитарка муртинской больницы Он открыто говорил о своей вере, говорил: «Куда меня не пошлют — везде Бог». Владыка Лука утром всегда ходил в ближнюю рощу и молился там, поставив на пенек складную иконочку.

Владыка Лука очень много писал, продолжая усердно трудиться над «Очерками гнойной хирургии». В письмах к детям он просил их присылать ему необходимые книги, журналы, истории болезни. Оперировал он не только в Мурте, но и в Красноярске. Владыка Лука приходил в крайнее утомление от научной работы и считал, что ему необходима регулярная практическая работа на полдня, чтобы не трудиться целый день мозгом.]

Там я первое время бедствовал без постоянной квартиры, но довольно скоро дали мне комнату при районной больнице и предоставили работу в ней вместе с тамошним врачом и его женой, тоже врачом. Позже они говорили мне, что я едва ходил от слабости после очень плохого питания в ташкентской тюрьме, и они считали меня

дряхлым стариком. Однако довольно скоро я окреп и развил большую хирургическую работу в муртинской больнице.

Из Ташкента мне прислали очень много историй болезней из гнойного отделения ташкентской больницы, и я имел возможность, благодаря этому, написать много глав своей книги «Очерки гнойной хирургии».

Неожиданно вызвали меня в муртинское ГПУ и, к моему удивлению объявили, что мне разрешено ехать в г.Томск для работы в тамошней очень обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы маршалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность закончить свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для военно-полевой хирургии.

В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоставила одна глубоко верующая женщина. За два месяца я успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки из нее. По возвращении Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Очерки гнойной хирургии».

***

Наступило лето 1941 года, когда гитлеровские полчища, покончив с западными странами, вторглись в пределы СССР.

[Когда началась война, деревня опустела, в больнице не стало самых насущных лекарств, сестры были вынуждены стирать использованные бинты. В это время Владыка Лука писал сыну: «Я очень порывался послать заявление о предоставлении мне работы по лечению раненых, но потом решил подождать с этим до окончания моей книги, которую буду просить издать экстренно, ввиду большой важности ее для военно-полевой хирургии. В Мурте нашелся

специалист-график... Он сделал мне прекрасные эскизы рисунков...» И еще, через месяц после начала войны: «По окончании книги пошлю заявление в Наркомздрав и Бурденко, как главному хирургу армии, о предоставлении мне консультантской работы по лечению раненых...»]

> В конце июля прилетел на самолете в Большую Мурту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вместе с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 15-15.

[Такое благополучное по милости Божией возвращение из места ссылки епископа-профессора в те страшные времена удивляло многих. Вскоре после начала войны муртинский военкомат получил распоряжение использовать профессора по специальности. Владыка Лука считал, что его, возможно, призовут в армию: «В шестьдесят четыре года надену впервые военную форму», — пишет он.

Сначала епископ получил только разрешение переехать в краевой центр, все еще в качестве ссыльного, для работы в лечебном учреждении.

Бывший начальник Енисейского пароходства И.М.Назаров рассказывает, что в начале войны Владыка Лука послал телеграмму Председателю Президиума Верховного Совета М.И.Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». Когда она пришла на городской телеграф, в Москву ее не передали, а, в соответствии с существующими распоряжениями, направили в крайком. В крайкоме долго обсуждали: посылать — не посылать. Назаров видел ее и на столе первого секретаря товарища Голубева. При обсуждении вопроса присутствовали работники НКВД. Они говорили, что профессор ВойноЯсенецкий — ученый с мировым именем, что книги его издавались даже в Лондоне. В конце концов решено было телеграмму Калинину все-таки отправить. Ответ из Москвы пришел незамедлительно. Профессора приказано было перевести в Красноярск.

По словам Назарова, сразу несколько ведомств заинтересовались хорошим хирургом: больница водников, штаб Военного округа. Красноярск должен был стать последним на Востоке пределом эвакуации раненых. Там было организовано огромное учреждение — МЭП (местный эвакопункт), состоящее из десятков госпиталей и рассчитанное на десяток тысяч коек. С фронта уже шли в Сибирь первые санитарные эшелоны. МЭП нуждался в зданиях, белье,

продуктах, врачах, а главное — в квалифицированном научном руководстве. На тысячи километров вокруг не было более необходимого и квалифицированного специалиста, чем Владыка Лука, профессор Войно-Ясенецкий.

Главный хирург МЭП прилетел в Большую Мурту. Начальнику районного МВД была вручена бумага, по которой ссыльный профессор Войно-Ясенецкий переводился в Местный эвакопункт, точнее, госпиталь 15-15. Владыка Лука сообщал из Красноярска: «Завтра же начнем оперировать». И через десять дней: «Я назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и, по-видимому, буду освобожден от ссылки. Устроился отлично...»

Владыка Лука еще два года оставался на положении ссыльного. По свидетельству профессора Максимовича, дважды в неделю он был обязан отмечаться в милиции. Выезжать на научные конференции в другой город он мог с разрешения чекистов и должен был писать рапорты.

Зимой 1942 года Владыка Лука жил в сырой холодной комнате, которая до войны принадлежала школьному дворнику. Епископ оказался почти на грани нищеты. На госпитальной кухне, где готовилась пища на тысячу двести человек, хирурга-консультанта кормить не полагалось. А так как у него не было ни времени, чтобы отоваривать свои продуктовые карточки, ни денег, чтобы покупать продукты на черном рынке, то он постоянно голодал. Госпитальные санитарки тайком пробирались в дворницкую, чтобы оставить на столе тарелку каши. Позже Владыка Лука писал сыну Михаилу: «В первое время моей работы в Красноярске отношение ко мне было подозрительное».

Как и прежде, в годы тюрем и ссылок, Владыка терпел все с глубокой преданностью воле Божией. В одном из писем той поры он писал сыну Михаилу, что «полюбил страдание, так удивительно очищающее душу».]

> Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные.
>
> Раненые офицеры и солдаты очень любили меня.

[Бывший хирург В.А.Суходольская вспоминает: «Мы, молодые хирурги, к началу войны мало что умели делать. На Войно-Ясенецкого смотрели мы с благоговением. Он многому научил нас. Остеомиелиты никто, кроме него, оперировать не мог, а гнойных ведь было — тьма! Он учил и на операциях, и на своих отличных лекциях. Лекции читал в десятой школе раз в неделю». Доктор Браницкая рассказывает: «В операционной Войно-Ясенецкий работал спо-

койно, говорил с персоналом тихо, ровно, конкретно. Сестры и ассистенты никогда не нервничали на его операциях».

Помимо того, что епископ Лука много оперировал, он должен был консультировать во многих госпиталях. Согласно списку консультаций, данных хирургом за три недели 1942 года, профессор побывал в семи госпиталях, осмотрел более восьмидесяти человек. Часто осмотр завершался его пометкой в документе: «Раненого такого-то перевести в школу № 10» (там располагался его госпиталь).

Владыка Лука забирал к себе больных и раненых с наиболее тяжелыми поражениями. Красноярский врач-рентгенолог В.А.Клюге вспоминает, как хирург-консультант посылал его и других молодых врачей госпиталя 15-15 на железнодорожный дебаркадер, где разгружали санитарные поезда. Он просил разыскивать раненых с гнойными, осложненными поражениями тазобедренного сустава, тех, кого большинство хирургов считало обреченными. Отчеты госпиталя 15-15 свидетельствуют, что многие раненые из «безнадежных» были вылечены.

К январю 1943 года все десять тысяч коек в госпиталях МЭП-49 были заняты ранеными, а фронт посылал все новые и новые эшелоны. Красноярск был самым дальним городом, куда доходила волна медицинской эвакуации. И когда, преодолев семь тысяч километров, санитарные поезда довозили раненых до берегов Енисея, многие раны успевали нагноиться, костные ранения оборачивались запущенными остеомиелитами.

Приезжавший в госпиталь 15-15 инспектор всех эвакогоспиталей профессор Приоров говорил, что ни в одном из очень многих госпиталей, которые он объезжал, он не видел таких блестящих результатов лечения инфицированных ранений суставов, как у Владыки Луки ВойноЯсенецкого.

Хирург В.Н.Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого по госпиталю 15-15, вспоминает, что Владыка Лука учил своих помощников и «человеческой хирургии»: с каждым раненым он как бы вступал в личные отношения, помнил каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеоперационного периода. Ныне стали широко известными слова Владыки Луки: «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой страдающий человек». Проявления равнодушия к врачебному долгу возмущали епископа Луку.

Его труд бывал порой сопряжен с глубокими душевными страданиями. «Тяжело переживаю смерть больных после операции, — писал епископ Лука сыну. — Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили. Тебе как теоретику неведомы эти мучения, а я переношу их все тяжелее и тяжелее... Молился об умерших дома, храма в Красноярске нет...»

О том, как Владыка Лука переживал смерти в операционной, сохранились рассказы и ташкентских врачей. Акушер-гинеколог Антонина Алексеевна Шорохова, работавшая в Узбекистане еще с дореволюционных лет вспоминает:

«Валентин Феликсович болел душой за каждую свою неудачу. Однажды, задержавшись на работе, когда все врачи уже покинули больницу, я зашла зачем-то в предоперационную хирургического отделения. Внезапно из открытой двери операционной до меня донесся «загробный» голос: «Вот хирург, который не знает смертей. А у меня сегодня второй...» Я обернулась на голос и увидела Валентина Феликсовича, который пристально и грустно глядел на меня. Поразила его угнетенная поза: он стоял согнувшись и упираясь руками в край операционного стола. На столе лежал больной, умерший во время операции...»

Если не было другой возможности спасти больного, Владыка Лука, шел на рискованные операции, несмотря на то, что это налагало на него большую ответственность... Когда, войдя в палату, он замечал, что нет больного, которого он оперировал два дня назад, он, ни о чем не спрашивая, поднимался на второй этаж и запирался в своей комнате.

Об этом вспоминает ученица хирурга А.И.Беньяминович: «Его не видели потом в отделении часами. Мы знали: каждая смерть, в которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания». Владыка Лука считал необходимым не скрывать от умирающих близость их смерти, так как они могли пожелать умереть по- христиански.

Тяжелыми были и условия работы в эвакогоспитале. «Госпиталь 15-15 в большом прорыве, — докладывали в крайком партийные деятели, — тяжелое хозяйственное положение этого госпиталя, неудовлетворительное санитарное состояние, невысокое качество лечебной работы в отделениях, несмотря на большие возможности квалифицированного специалиста профессора Войно-Ясенецкого, низкая труддисциплина ставят его в ряд плохих госпиталей...» В письме к старшему сыну Владыка Лука жалуется, что работать приходится в невыносимых условиях: штат неумел и груб, врачи не знают основ хирургии. К его протестам целый год никто не прислушивался, хотя речь шла буквально о преступлениях.

«Я дошел до очень большой раздражительности и на днях перенес столь тяжкий приступ гнева, что пришлось принять дозу брома, вспрыснуть камфару, возникла судорожная одышка, — пишет епископ Лука, — в таких условиях еще никогда не работал».

Хирургу с почти сорокалетним опытом действительно не приходилось сталкиваться с подобным всеобщим беспорядком ни в госпиталях времен Русско-Японской, ни Первой Мировой войны. Владыка нервничал, случалось, даже выгонял нерадивых помощников из операционной. На него жаловались. Возникали разбирательства, госпиталь посещали многочисленные проверочные комиссии.

Все это, конечно, крайне плохо отражалось на здоровье Владыки. Во время операции хирургу все чаще приходилось опускаться на стул: не держали ноги. Трудно было ему подниматься по госпитальным лестницам: давала себя

знать эмфизема [Хроническое заболевание легких, характеризующееся их повышенной воздушностью.]. Но еще более тяжелой скорбью для епископа Луки была невозможность бывать в храме.

В Красноярске, городе с многотысячным населением, последнюю из множества церквей закрыли перед войной. Радости богослужения, по словам Владыки Луки, были лишены в городе сотни, а может быть, и тысячи людей. Рассказывают, что верующие приносили Владыке много икон, так что одна стена дворницкой блестела от окладов и лампадного света.

Весной 1942 года отношение властей к Владыке Луке улучшилось. Хирургу-консультанту стали выдавать обед, завтрак и ужин с общей кухни, стали заботиться об улучшении условий его работы. В Иркутске на межобластном совещании главных хирургов архиепископу Луке «устроили настоящий триумф, — как писал он Михаилу. — Мнение обо мне в правящих кругах самое лучшее и доверие полное. Слава Богу!»

Владыкой Лукой был сделан ряд новых открытий, его операции, лекции, доклады на конференциях высоко ценили врачи, доценты и профессора. «Почет мне большой: когда вхожу в большие собрания служащих или командиров, все встают», — писал в то время епископ Лука.

Об этом времени своей жизни Владыка Лука писал Н.П.Пузину, с который познакомился по приезде в Красноярск [Воспоминания Н.П.Пузина об архиепископе Луке и письма к нему Владыки опубликованы в «Вестнике РХД» №170, 1994 г.]:

«20 июня 1942 г.

Многоуважаемый Николай Павлович!

И я сожалею, что Вы уехали из Красноярска. С митрополитом Сергием я начал очень интересную для Вас большую переписку по вопросам религиозно-философским, церковно-политическим и тактическим. Конечно, нет возможности сообщать Вам эту переписку.

У меня большое огорчение: из Новосибирска мне сообщили, что издать мою книгу не могут за недостатком бумаги... За мною исключительно ухаживают: командиры из больных вызывали директора обувной фабрики, заказали ему ботинки для меня по мерке, велели во что бы то ни стало достать резиновые сапоги для операций. Заказаны также две смены белья, два полотенца, носовые платки. Делают выговора сестрам, если увидят, что я сам несу тарелку. МЭП, реввоенсовет, представил меня к награде, по-видимому, к ордену. — Поистине стремительная эволюция от persona odiosa к persona grata! Слава Богу!

Кормят меня так обильно, что я половину отдаю окружающим или знакомым. А бедный обновленческий архиерей в Мурте голодает до голодных отеков, живя только на 400 г хлеба. Завтра переберусь в новую квартиру (где была ап-

тека). Там будут самые лучшие условия для размышлений на религиозные темы, которыми я теперь занят; полная изоляция, тишина, покой, одиночество.

Господь да благословит и сохранит Вас.

Архиепископ Лука».

«25 декабря 1942 г.

Николаю Павловичу о Господе радоваться.

...Уже четыре недели я не работаю вследствие очень тяжелого переутомления, главным образом мозгового. Три недели пролежал в больнице крайкома, теперь лежу у себя на квартире. Врачи говорят, что по выздоровлении я не должен работать больше четырех часов и не делать больше двух операций. А до сих пор я работал до восьми-девяти часов и делал четыре-пять операций.

...Продолжается моя большая переписка с Митрополитом Сергием.

Да поможет Вам Господь перенести тягости военного времени и да благословит Вас.

Архиепископ Лука».

В это время Владыку Луку вызвал первый секретарь обкома партии и сказал ему, что отношения между Церковью и государством скоро улучшатся, и он сможет вернуться к епископскому служению. Милостью Божией, через некоторое время Владыка действительно был назначен на Красноярскую кафедру, вновь открыто зазвучала его проповедь о Христе.

«Давно обещали открыть у нас одну церковь, но все еще тянут, и я опять останусь без богослужения в великий праздник Рождества Христова», — со скорбью пишет епископ сыну Михаилу в конце 1942 года, и, наконец, 5 марта сообщает: «Господь послал мне несказанную радость. После шестнадцати лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь снова уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен архиепископом Красноярским... Конечно, я буду продолжать работу в госпитале, к этому нет никаких препятствий».

Владыка Лука писал: «О первом богослужении мало кто знал, но все-таки пришло человек двести. Многие стояли на дворе».

«Первое богослужение... сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на две недели. Я его не начал и уверен, что обойдусь без него», — пишет Владыка Лука.

Еще через месяц он подтверждает: «Невроз мой со времени открытия церкви прошел совсем и работоспособность восстановилась».

Вновь на дверях квартиры архиепископа появляется табличка, извещающая о том, что по церковным делам он принимает во вторник и пятницу с шести до восьми вечера. НП.Пузину Владыка Лука пишет: «Очень долго не мог отвечать Вам по двум причинам:

1) я был крайне занят спешным окончанием своей монографии о поздних резекциях при огнестрельных ранениях суставов;

2) я очень плохо чувствовал себя и иногда лежал по целым дням вследствие тяжелого мозгового переутомления, длящегося уже почти четыре месяца. ...Требуют, чтобы я не ходил в церковь, если не буду работать в больнице. И работаю через силу.

До крошечной кладбищенской церкви в Николаевке полтора часа ходьбы с большим подъемом на гору, и я устаю до полного изнеможения, церковь так мала, что в ней нормально помещается сорок—пятьдесят человек, а приходят двести—триста, и в алтарь так же трудно пройти, как на Пасху.

Служить мне в ней можно было бы только священническим чином, но и это пока невозможно, т.к. нет облачений. По-видимому, получим их из театра. Нет диакона, певчих, даже псаломщика. Служит семидесятитрехлетний протоиерей, а я проповедую. Это для меня и для народа огромная радость.

Есть большая надежда, что весной откроют Покровскую церковь (на углу улиц Сталина и Сурикова)...

Блаженнейший был опасно болен воспалением легкого, но, слава Богу, поправился. По болезни давно не писал мне. Желаю Вам успеха в работе, здоровья и душевного спасения.

А.Л. 17.III.43 г.»

В Николаевской церкви архиерейское служение оказалось невозможным. Открыть второй храм власти обещали только через год. «В театре много архиерейских облачений, но нам не дают их, считая, что важнее одевать их актерам и кромсать, перешивая для комедийных действий», — писал Владыка Лука.

Впоследствии ему удалось получить архиерейское облачение в Новосибирске, где он выступал с докладом на конференции хирургов военных госпиталей, и в Красноярске через некоторое время был открыт еще один храм.

Архиепископ пишет в то время в письме, что отношение правительства к Церкви резко изменилось: «...Всюду открываются и ремонтируются за счет горсоветов храмы, назначаются епископы». И о себе: «Помни, Миша, что мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг. Я под-

линно и глубоко отрекся от мира и от врачебной славы, которая, конечно, могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной, и научной работы я не намерен оставлять».

Через несколько месяцев он сообщает Михаилу: «В Красноярске, в «кругах» говорили обо мне: «Пусть служит, это политически необходимо». «Я писал тебе, что дан властный приказ не преследовать меня за религиозные убеждения. Даже если бы не изменилось столь существенно положение Церкви, если бы не защищала меня моя высокая научная ценность, я не поколебался бы снова вступить на путь активного служения Церкви. Ибо вы, мои дети, не нуждаетесь в моей помощи, а к тюрьме и ссылкам я привык и не боюсь их». «О, если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих Его...»

В день, когда исполнилось двадцать лет со дня рукоположения Владыки Луки во епископы, он писал старшему сыну, напоминая о давней поездке из Ташкента в Пенджикент: «Это было начало того тернистого пути, который мне надлежало пройти. Но зато был и путь славы у Бога. Верю, что кончились страдания...»

Архиепископ Лука прилагал много стараний, чтобы вышло в свет второе издание «Очерков гнойной хирургии», зная, что книга приносит врачам большую практическую пользу, что в книге нуждаются. В 1943 году ему удалось, наконец, получить разрешение ее издать, как он пишет об этом Н.П.Пузину:

«1 июля 1943 г.

Николаю Павловичу мир и благословение.

У меня большая радость. 2 мая я послал Сталину письмо о своей книге с приложением отзывов проф. Мануйлова и Приорова, превозносящих книгу до небес. Результат: письмо из Медгиза от 26 июня с просьбой прислать рукопись для издания. И также монографию о суставах, которую медлило издать здешнее краевое издательство, потребовали в Москву. К зиме выйдут и книга, и монография.

Госпиталь наш сократили до 250 коек, и работа уменьшилась. Церкви в городе не хотят открывать, а из Ташкента пишут, что туда приехал обновленческий архиерей, и для него открывают много церквей... А в Николаевку осенью и весной ходить невозможно. Недавно я пошел после дождя, упал в грязь и вернулся. Здоровье мое, слава Богу, хорошо. Недавно я получил благодарность и грамоту от военного совета СибВо.

Будьте здоровы и благополучны. Господь да хранит Вас.

Архиепископ Лука. 1.VII.43 г.»

«Николаю Павловичу мир и благословение.

Большая и неожиданная новость у меня. 2 марта я получил телеграмму из Москвы. Всеславянский комитет просит написать статью для заграничной славянской печати о моей общественной деятельности во время Отечественной войны в качестве Красноярского архиепископа и хирурга госпиталей Красной Армии. Вы, конечно, сумеете всесторонне оценить значение этого предложения и возможные большие последствия его. Уже через два дня я послал статью, которую, однако, мне некогда переписать для Вас.

Служу и проповедую каждый праздник и каждое воскресенье. Работа в госпитале идет по-прежнему... Мой невроз по временам рецидивирует, а 8 августа я даже не мог служить Литургию из-за него.

Фурункулез, которым Вы страдаете, верно, излечивается только аутовакциной.

Господь да поможет Вам и да благословит Вас.

Архиепископ Лука 16.VIII.43 г.»

О своей переписке с Местоблюстителем Патриаршего Престола Митрополитом Сергием Владыка Лука вспоминал: «В 1942 году имел я с ним большую переписку по основным вопросам современной жизни, и его письма часто удивляли меня глубиной и верностью понимания сущности христианства, знанием Священного Писания и истории Церкви. Некоторые из них даже можно назвать небольшими богословскими трактатами. Не во всем он соглашался со мной, и часто я должен был признать его большую правоту».

Переписка митрополита Сергия и архиепископа Луки имела немаловажное значение для подготовки Собора епископов Русской Православной Церкви 1943 года. Архиепископ Лука принял непосредственное участие в составлении документов Собора. Он был членом Священного Синода.

После того, как митрополит Сергий стал Патриархом, он привлек Владыку Луку к участию в «Журнале Московской Патриархии». Это сотрудничество с ЖМП продолжалось десять лет.]

> Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами.

В конце войны я написал небольшую книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших суставов», которую представил на соискание Сталинской премии вместе с большой книгой «Очерки гнойной хирургии».

По окончании работы в эвакогоспитале 15-15 я получил благодарственную грамоту Западно-Сибирского военного округа, а по окончании войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Священный Синод при Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа.

В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороге завяз, и упал в грязь, и должен был вернуться домой.

Служить архиерейским чином было невозможно, так как при мне не было никого, кроме одного старика-священника, и я ограничивался только усердной проповедью слова Божия.

По окончании моей ссылки в 1943 году я возвратился в Москву, и был назначен в Тамбов, в области которого до революции было сто десять церквей, а я застал только две: в Тамбове и Мичуринске.

[После окончания ссылки Владыка Лука стал хлопотать о переводе из Сибири. Должностные лица Красноярска не хотели отпускать его. Ему старались угодить и гражданские, и военные власти. В списке лучших врачей края фамилия Войно-Ясенецкого стояла на первом месте. Проблема перевода несколько месяцев согласовывалась между

Патриархией и Наркомздравом. Наконец нарком Третьяков телеграфировал: «Намерены перевести Вас в Тамбов, широкое поле деятельности в госпиталях и крупной больнице». Святейший Патриарх Сергий специальным Указом назначил Владыку Луку архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В начале 1944 года Владыка Лука переехал в Тамбов.

Многие труды ожидали архиепископа в его новой епархии. Он продолжает совмещать архипастырское служение и служение ближним врачебной работой.

«Город недурной, почти полностью сохранивший вид старого губернского города, — писал Владыка Лука сыну. — Встретили меня здесь очень хорошо... По просьбе Президиума (Хирургического общества) я сделал доклад об остеомиелите на окружной конференции Орловского военного округа. Выступал и заседал в президиуме в рясе, с крестом и панагией».

Кандидат медицинских наук В.А.Поляков вспоминает о встрече с Владыкой Лукой (в собрании хирургов) в 1944 году: «На совещание собралось много народа. За столом президиума уже поднялся председательствующий, чтобы объявить название доклада. Но вдруг широко открылись обе створки двери, и в зал вошел человек огромного роста, в очках. Его седые волосы ниспадали до плеч. Легкая, прозрачная, белая кружевная борода покоилась на груди. Губы под усами были крепко сжаты. Большие белые руки перебирали черные матовые четки. Человек медленно вошел в зал и сел в первом ряду. Председательствующий обратился к нему с просьбой занять место в президиуме. Он поднялся, прошел на подмостки и сел в предложенное ему кресло. Это был профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий...»

В управлении епархией архиепископ Лука сразу столкнулся со множеством трудностей. Тамбовский храм, долгие годы содержавший под своей кровлей рабочие общежития, доведен был до последней степени запустения. Обитатели его раскололи иконы, сломали и выбросили иконостас, исписали стены ругательствами. Владыка Лука без жалоб принял наследие атеистов, начал ремонтировать храм, собирать причт, вести службы, продолжая и врачебную работу. На попечении Тамбовского архиепископа теперь находилось сто пятьдесят госпиталей, от пятисот до тысячи коек в каждом. Консультирует он также хирургические отделения большой городской больницы. Владыка Лука по-прежнему был готов работать сутками, несмотря на то, что скоро ему должно было исполниться семьдесят.

«Приводим церковь в благолепный вид... Работа в госпитале идет отлично... Читаю лекции врачам о гнойных артритах... Свободных дней почти нет. По субботам два часа принимаю в поликлинике. Дома не принимаю, ибо это уже совсем непосильно для меня. Но больные, особенно деревенские, приезжающие издалека, этого не понимают и на-

зывают меня безжалостным архиереем. Это очень тяжело для меня. Придется в исключительных случаях и на дому принимать», — писал он сыну и его семье.

Со слов своей покойной подруги врача В.П.Дмитриевской, учительница-пенсионерка из Тамбова О.В.Стрельцова описывает следующий случай.

«При обходе больных красноармейцев госпиталя Владыкой Лукой в качестве врача один больной красноармеец позволил себе нанести ему обиду, сказав — зачем здесь ходит длинноволосый. И что же получилось: в тот же вечер этому обидчику было возмездие и вразумление. Ночью в двенадцать часов случился с ним смертельный приступ, который вразумил его, и он, больной, потребовал врача с просьбой вызвать к нему профессора, то есть Владыку Луку.

Он приехал ночью же, вошел в палату к больному, который со слезами просил прощения у епископа-врача за свою обиду и умолял спасти ему жизнь, так как он, больной, чувствовал уже приближение смерти. Владыка Лука дал команду немедленно приготовить все к срочной операции. Принесли больного, подготовили к операции. Владыка, как он обычно поступал в таких случаях, спросил больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой доктора.

Больной, не прекращая слез, ответил, что он теперь верует и сознает, что поплатился за грубую насмешку над епископом. Владыка-профессор, сделав очень серьезную срочную операцию, возвратил больного к жизни. Этот случай очень подействовал на всех больных госпиталя».

Ко времени приезда Владыки Луки в Тамбов, его зрение было уже сильно ослаблено. Те изящные разрезы, которые в прошлом вызывали восхищение, теперь не всегда у него получались. Из-за ухудшения зрения Владыке пришлось оставить наиболее сложные операции.

Сохранилось много свидетельств о том, что Владыку Луку по-настоящему любили: любила паства, любили сотрудники, любили пациенты, часто неверующие. С горячей любовью и благодарностью вспоминают своего Владыку прихожане тамбовского кафедрального собора:

«Приехал он к нам в самом начале 1944 года. Но сначала не было у него облачения для службы. Прислали ему облачение перед Великим постом. Он служил первый раз и обратился к верующим с кратким словом: «После долгого духовного голода мы сможем снова собираться и благодарить Бога... Я назначен к вам пастырем». Потом благословил каждого человека в храме».

«Владыка с книгой начинал день, с книгой да с молитвой и кончал. Библиотеку ему оставила монахиня Любовь, она была из князей Ширинских-Шихматовых, в Тамбове в ссылке находилась».

«Одна женщина-вдова стояла возле церкви, когда Владыка шел на службу. «Почему ты, сестра, стоишь такая грустная?» — спрашивает Владыка. А она ему: «У меня пятеро детей маленьких, а домик совсем развалился». — «Ну, подожди конца службы, я хочу с тобою поговорить». После службы повел он вдову к себе домой, узнал, какие у нее плохие дела и дал денег на постройку дома».

Ольга Владимировна Стрельцова вспоминает, что проповеди Владыки привлекали в церковь много врачей, библиотекарей, учителей. Проповеди записывала в храме учительница английского языка, очень преданная архиепископу Луке, Наталья Михайловна Федорова, потом другая прихожанка-машинистка перепечатывала проповеди на папиросной бумаге и раздавала верующим. Было записано семьдесят семь проповедей в Тамбове.

Протодиакон о.Василий Малин, которого Владыка Лука в 1945 году рукоположил в диаконы, рассказывает: «Был среди прихожан пожилой человек, кассир, И.М.Фомин. Читал на клиросе часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Владыка несколько раз поправлял его. Однажды после службы, когда архиепископ Лука в пятый или шестой раз объяснил ему, как произносятся некоторые церковно-славянские выражения, между ними произошел спор. Владыка Лука темпераментно размахивал богослужебной книгой и, очевидно, задел Фомина. Тот возмутился, сказал, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать церковь. Спустя некоторое время, надев крест и панагию, Тамбовский Владыка через весь город отправился к обиженному прихожанину просить прощения. Фомин не принял архиепископа. Владыка снова пошел к нему и снова не получил прощения. Кассир буквально издевался над ним. Простил он Владыку только за несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова».

Сохранились очень интересные воспоминания о Владыке Луке учительницы Софьи Ивановны Борисовой. Немка по национальности, она была лютеранкой и во время пребывания архиепископа Луки в Тамбове пожелала перейти в православие. Владыка пригласил ее к себе в дом, побеседовал с ней, подготовил к переходу в православную веру. Она стала очень близким ему человеком и после отъезда Владыки Луки в Симферополь долго с ним переписывалась.

В конце 1944 года в одной из проповедей Владыка сказал, что немецкие зверства не случайны, что жестокость присуща немецкому народу в целом; эта национальная черта уже не раз выявлялась у немцев в прошлые столетия и отражает, так сказать, дух германского народа. Софью Ивановну обидели эти слова. Преодолев смущение, она подошла после проповеди к архиепископу и сказала ему, что немцы, как и русские, бывают всякие, и никакого жестокого немецкого духа она не знает. Владыка Лука молча выслушал ее и молча же покинул храм. А через несколько дней, при большом стечении народа, сказал прихожанам, что обнаружил в прошлой своей проповеди недопустимую

ошибку. Неправильно говорить о жестоком характере всех немцев вообще. Он просит тех, кого это замечание обидело, если можно, простить его. Впредь он будет обдумывать свои проповеди более серьезно.

В советских документах говорится, что Великую церковь взорвали немцы. В действительности это не так. Она была заминирована Красной Армией при отступлении миной замедленного действия. Немцы безуспешно пытались разминировать Великую церковь, но не смогли этого сделать. Произошел взрыв.

На самом деле немцы, пытаясь завоевать популярность и доверие, за редким исключением, не трогали православные храмы. Наоборот, известны многочисленные случаи открытия немцами церквей. С другой стороны, известно отношение безбожных политруков Красной Армии к национальным святыням.

Один очевидец, игумен Мисаил, свидетельствует: «Когда немцы отступили от нашего села под Волоколамском уже на несколько десятков километров, прибыла машина с саперами-красноармейцами. Они сразу же направились к храму. Долгое время что-то копали, шурфили, носили какие-то ящики. В четыре часа утра раздался взрыв. Древний прекрасный храм превратился в груду развалин. Машина сразу же уехала. На следующий день жителям села было объявлено, что храм взорвали... немцы». Видимо, существовала негласная директива о разрушении храмов в освобожденных от немцев районах.

Знавшие Владыку Луку отмечали, что он очень доверяет людям.

Архиепископ Иннокентий Калининский (Леоферов), который был в Тамбове епархиальным секретарем Владыки Луки, вспоминал: «Он очень правдив был. Владыка Лука, до смешного правдив. Полагал, что и вокруг него все так же правдивы. А люди-то, сами знаете... Когда он уезжал из Тамбова, я в поезде его до Мичуринска провожал. Были мы с ним в купе одни, и Владыка спросил:

— Скажите, какого самого большого порока мне следует избегать?

— Не доверяйте, пожалуйста, клеветникам, — сказал я. — По жалобам лжецов Вы, Ваше Преосвященство, иногда наказывали ни в чем не повинных людей.

— Да? — изумился он. А потом, подумав, добавил, — С этим расстаться никак не смогу. Не могу не доверять людям.

Архиепископ Лука добивался передачи верующим городского собора. Тотчас после приезда в Тамбов он писал сыну: «Почти наверное отдадут нам большой двухэтажный собор». В мае он пишет: «Отказали в Москве открыть у нас собор, и это большое огорчение для меня». Позднее Карпов обещал Владыке Луке открыть собор или другой большой храм в Тамбове, но тамбовский уполномоченный по делам Православной Церкви отказался сделать это. В ав-

густе Владыка Лука сообщает: «Собор будет открыт только по ходатайству верующих, но нет до сих пор инициаторов, все боятся».

Карпов, действительно, хотел открыть собор в Тамбове, но тогдашний председатель облисполкома Козырьков и первый секретарь обкома партии Волков — комсомольцы двадцатых годов — всячески этому сопротивлялись. Козырьков вскоре умер (Владыка Лука диагностировал у него неоперабельный рак желудка), но Волков так до конца войны и не допустил, чтобы в городе открыли второй храм. А после войны вопрос об этом в Москве больше не поднимался.

Козырьков относился к Владыке Луке неплохо, считая, что он — медик, случайно попавший в «церковный омут». Однажды он пригласил Владыку к себе в кабинет и, желая выразить ему свое расположение, спросил:

— Чем Вас премировать за Вашу замечательную работу в госпитале?

— Откройте городской собор.

— Ну нет, собора Вам никогда не видать.

— А другого мне от Вас ничего не нужно, — ответил архиепископ и покинул облисполком.

С новым председателем, который сменил Козырькова, произошел у архиепископа Луки следующий случай. В конце 1945 года Владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» После вручения медалей председатель сказал, что хотя труд Войно-Ясенецкого как консультанта эвакогоспиталя завершен (госпитали эти осенью 1944 года покинули Тамбов и двинулись дальше на запад), но он надеется, что профессор и впредь будет делиться своим большим опытом с медиками города.

Архиепископ Лука ответил ему следующее: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю; я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы (он подчеркнул это «вы», давая понять слушателям, что придает слову широкий смысл), не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей воле».

У областного начальства эти слова вызвали шок. Какое-то время в президиуме и в зале царила тягостная тишина. Кое-как прийдя в себя, председатель залепетал, что прошлое пора-де забыть, а жить надо настоящим и будущим. И тут снова раздался басовитый голос Владыки Луки: «Ну, нет уж, извините, не забуду никогда!»

После кончины Патриарха Сергия началась подготовка к Поместному Собору Русской Православной Церкви и выборам нового Патриарха. Владыка Лука присутствовал в Москве на совещании епископов, состоявшемся 21 ноября 1944 года для избрания Предсоборной комиссии. Архиепископ Лука напомнил присутствующим о процедуре выборов Патриарха по жребию, которая была выработана на Поместном Соборе 1917 года. Согласно постановлению этого Собора, выдвижение кандидатов в Патриархи должно быть предоставлено самим участникам Собора и голосование должно быть тайным. Владыка Лука заявил, что, поскольку выдвижение митрополита Алексия как единственного кандидата в Патриархи это постановление нарушает, то он проголосует против митрополита Алексия. В результате Владыка Лука оказался единственным русским архиереем, которого не пригласили на Собор, в котором участвовали 41 русский и 5 иностранных епископов.]

Имея много свободного времени, я и в Тамбове около двух лет совмещал церковное служение с работой в госпиталях для раненых.

В 1946 году я получил Сталинскую премию Первой степени за мои «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов».

[«Множество поздравлений отовсюду, — писал Владыка Лука после получения премии, — Патриарх, митрополиты, архиереи, Карпов (Председатель Совета по делам РПЦ), Митярев, Третьяков, Академия Медицинских наук, Комитет по делам высшей школы, Богословский институт, профессора и проч., и проч. Превозносят чрезвычайно... Моя слава — большое торжество для Церкви, как телеграфировал Патриарх». Почти всю премию Высокопреосвященный Лука пожертвовал на помощь сиротам — жертвам войны.

Владыка Лука лечил больных ради Бога, так же, во славу Божию, он часто помогал бедствующим и утешал несчастных. Его частные приемы, консультации были бесплатными. Научную же свою деятельность, публикации книг и статей, получение Государственной премии Владыка Лука рассматривал как средство поднять авторитет Церкви. Несомненно, что в те страшные времена открытая проповедь о Христе знаменитого ученого, прославленного хирурга не могла не заставить задуматься многих и многих людей.

Владыка Лука считал, что его научный труд привлечет к православию многих интеллигентов. Так оно и было. В одной передаче радиостанции «Би-Би-Си» того времени сообщалось, что группа французских юношей и девушек перешла в православие, сославшись в своей декларации на христианских ученых в СССР — Ивана Павлова, Владимира Филатова и архиепископа Луку Войно-Ясенецкого.

«Сегодня подтвердилось мое мнение, что я немалый козырь для нашего правительства, — пишет Владыка Лука сыну. — Приехал специально посланный корреспондент «ТАСС», чтобы сделать с меня портреты для заграничной печати. А раньше из Патриархии просили прислать биографию для журнала Патриархии и для Информбюро. Два здешних художника пишут мои портреты. Только что вернувшийся из Америки Ярославский архиепископ уже читал там в газетах сообщения обо мне, как об архиепископе – лауреате Сталинской премии... Завтра приедет из Москвы скульптор лепить мой бюст...»

За большие заслуги перед Русской Церковью архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука в феврале 1945 года был награжден Патриархом Алексием правом ношения бриллиантового креста на клобуке.

В Тамбовской епархии Владыка Лука восстановил и освятил несколько храмов, сосредоточив свои усилия на восстановлении приходской жизни. Богослужения, совершаемые архиепископом Лукой, отличались высокой духовностью и молитвенностью. Много сил он отдал просвещению паствы. «Там много-много я проповедовал и внушил всем великую любовь к преподобному Серафиму, так что после каждой службы всем народом пели тропарь преподобному пред образом его», — говорил архиепископ Лука в слове в день памяти преподобного Серафима Саровского.

В 1946 году Владыке Луке окончательно запретили выступать перед научной аудиторией в рясе, с крестом и панагией. Он писал сыну: «Я получил предложение Наркомздрава СССР сделать основной доклад о поздних резекциях крупных суставов на большом съезде, который должен подвести итоги военно-хирургической работе. Я охотно согласился, но написал, что нарком запрещает мне выступать в рясе, а Патриарх — без рясы. Написал и Патриарху об этом, он мне ответил письмом, ...его мнение совпадает с моим: выступать в гражданской одежде и прятать волосы в собрании, в котором все знают, что я архиерей — значит стыдиться своего священного достоинства. Если собрание считает для себя неприемлемым и даже оскорбительным присутствие архиерея, то архиерей должен считать ниже своего достоинства выступать в таком собрании... По телефону я говорил с организатором съезда, доктором Дедовым. Он заволновался и говорил, что все, и нарком (в том числе) придают большое значение моему докладу и обещали поставить на ноги все начальство. Но через день он сказал, что все начальство целый день было занято этим вопросом, говорили с Третьяковым и Карповым, и, как будто, дело дошло до ЦК партии, но на выступление в рясе не согласились. Я просил передать наркому, что принимаю это как отлучение от общества ученых».]

В мае 1946 года я был переведен на должность архиепископа Симферопольского и Крымского.

[В это время на здоровье архиепископа Луки все больше сказывались испытания всей его трудной жизни и последствия исключительно напряженной работы. Он теряет зрение, сердце все чаще отказывает: аритмия, декомпенсация. Он пишет: «Горе и слезы (тамбовской) паствы, горячо любящей меня, взволновали меня, и опять стало хуже с сердцем. Вчера и сегодня, в Фомино воскресенье, я не служил».]

Студенческая молодежь отправилась встречать меня на вокзал с цветами, но встреча не удалась, так как я прилетел на самолете. Это было 26 мая 1946 года.

[В мае 1946 года Владыка переехал в Крым. «Как ни плакала моя тамбовская паства, как ни просила Патриархию оставить меня, я должен был ехать в Симферополь. Это было несомненно по воле Божией, ибо здесь я очень нужен. Мне приходится устраивать разоренную епархию».

Война нанесла Крыму страшные раны. Города были разрушены, села превращены в пепелища. На месте множества крымских храмов были развалины. В Херсонесе, древней Корсуни, где святой князь Владимир принял Крещение, был разрушен величественный собор равноапостольного Владимира. Много трудов положил архиепископ Лука для восстановления храмов и для возобновления в них богослужения.

Экономическое положение было очень тяжелым. Четверть буханки хлеба стоила на рынке пятьдесят рублей. Крупу хозяйки покупали у крестьян пятидесятиграммовыми стопочками. Ее несли в мешочках, как огромную ценность. Архиерейская квартира на Госпитальной улице занимала второй этаж старого, давно не ремонтированного дома. Кроме архиерея и его епархиальной канцелярии, на этаже жило еще несколько посторонних семей. В доме были клопы. У единственного водопроводного крана по утрам собиралась очередь.

Владыка Лука готов был помочь всем. Обед на архиерейской кухне готовился на пятнадцать—двадцать человек. Обед немудреный, состоявший подчас из одной похлебки, но у многих симферопольцев в 1946—48 годах и такой еды не было. На обед приходило много голодных детей, одиноких старых женщин, бедняков, лишенных средств к существованию, — вспоминает племянница архиепископа Луки Вера Прозоровская. — Я каждый день варила большой котел, и его выгребали до дна. Вечером дядя спрашивал: «Сколько сегодня было за столом? Ты всех накормила? Всем хватило?»

Сам Владыка Лука питался очень просто. Завтрак состоял из одного блюда. Если подавали второе — сердился. Одевался более чем скромно. Симферопольская учительница Юдина, которой Владыка дал деньги на покупку дома, вспоминает, что Преосвященный всегда ходил в чиненных рясах с прорванными локтями. Всякий раз, как пле-

мянница Вера предлагала сшить новую одежду, она слышала в ответ: «Латай, латай, Вера, бедных много». Бедных вокруг, действительно, было много. Секретарь епархии вел длинные списки нуждающихся. В конце каждого месяца по этим спискам рассылались тридцать-сорок почтовых переводов.

Положение дел в Крымской епархии было сложным. Владыка Лука начал объезжать пятьдесят восемь крымских приходов. Большинство храмов было открыто сравнительно недавно (до войны на весь Крым оставалась одна единственная открытая церковь). В приходах архиерею жаловались на недостаток самого необходимого: облачений, богослужебных книг, ладана, свечей, лампадного масла.

Особенно переживал Владыка видя, что не все пастыри являют собой достойный пример для верующих. Он не уставал повторять им: «Какой ответ дам перед Богом за всех вас?» Бывший секретарь канцелярии Крымской епархии о.Виталий Карвовский вспоминает, что негодование Преосвященного вызывали не только священники пьющие, но и курящие. Таким назначал он строгие епитимии — запрещал три месяца служить в храме. Столь же категорически требовал, чтобы священники всегда и повсюду носили соответствующую их сану одежду. «Неверный в малом будет неверен и в большом», — цитировал он Евангелие и наказывал священников, бреющих бороду и коротко стригущих волосы. Некоторые из них уклонялись от исполнения требований архиерея. Но Владыка Лука оставался непреклонным.

В архиве епархии сохранилось следующее послание 1947 года:

«Недавно мне попался истрепанный служебник Литургии одного священника, в котором все нижние углы страниц черны от грязи. О Господи! Значит, этот лишенный страха Божия священник Тело Христово брал грязными руками, с черной грязью под ногтями! Как же это не стыдно священникам не мыться, быть грязно одетым, стоять перед святым престолом в калошах.

...В нашей епархии уже нет стриженых и бритых священников, но как много их в других местах! Как много и стыдящихся носить духовную одежду, по моде одетых и ничем не отличающихся от светских людей! А еще давно, давно великий писатель земли Русской Н.В.Гоголь так писал о духовной одежде: «Хорошо, что даже по самой одежде своей, неподвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они (духовенство) отличались от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл, она по образу той одежды, которую носил Сам Спаситель...»

Вот еще одно Послание архипастыря иереям его епархии: «Много ли среди вас священников, которые подобны серьезным врачам? Знаете ли вы, как много труда и внимания уделяют тяжелым больным добрые и опытные вра-

чи?.. Но ведь задача врача только исцеление телесных болезней, а наша задача неизмеримо более важна. Ведь мы поставлены Богом на великое дело врачевания душ человеческих, на избавление от мучений вечных!..»

Владыка Лука запрещает в священнослужении тех, кто нарушает канонические правила богослужения: кадит холодным кадилом, не по правилам совершает таинство Крещения, использует суррогаты ладана и т.п., напоминая им грозные слова пророка Иеремии: «Проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением» [Иер.48;10.].

В одном из Посланий архиепископ Лука со скорбью указывает факты стяжательства, называет имена тех, кто превращает священнослужение в источник личного обогащения: «Что делать с таким священником? Попробую устыдить его, затрону лучшие стороны сердца его; переведу в другой приход со строгим предупреждением, а если не исправится, уволю за штат и подожду — не пошлет ли Господь на его место доброго пастыря» [ЖМП №6, 1948, с.8].

Ревнуя о твердости верующих, Владыка Лука говорит в распоряжениях по епархии: «Объявить всем священникам, что христиане, малодушно объявившие себя в анкетах былого времени неверующими, должны считаться отступниками от Христа (Мф.10;33). Их запрещать в Причастии на четыре года» (Распоряжение по епархии №16-1 от 24.01.1947) .

«Поблажка грешникам, назначение мягких епитимий (поклоны и прочее) считают необходимыми в снисхождение к слабости людей нашего времени. А это глубоко неверно. Именно строгостью исповеди, страхом Божиим надо воздействовать на духовно распущенных людей. Надо потрясать их сердца. Стыдятся люди не получившие разрешения? Этот стыд необходим для них и спасителен, и нельзя в угоду им малодушно освобождать их от этого стыда... Священникам, считающим желательным сохранить прежнюю практику применения только легких епитимий, напоминаю, что им надлежит без критики исполнять указания своего епископа, на которого возложена Богом ответственность за свою паству в епархии и руководство всеми священниками...» (Распоряжение по епархии №16-7 от 07.06.1947) .

В это время снова стали повсеместно закрывать храмы. Для создания видимости законности этих действий, КГБ выработал ряд правил, по которым храм мог быть закрыт. Одно из них гласило, что храм подлежит закрытию, если в нем шесть месяцев нет священника. Священников в Крыму, как и по всей стране, не хватало, и к осени 1949 года симферопольский уполномоченный погасил лампады в храме города Старый Крым, а затем в селах Желябовке и Бешарани. В опасности оказались церкви еще нескольких населенных пунктов Крыма.

Владыка Лука всеми силами стремился спасти храмы. Он переводил священников в пустующие церкви, направлял их из городов в села. Некоторые священники были недовольны этим. Архиепископ писал в Послании всем священникам и диаконам Симферопольской епархии: «Возможно ли, чтобы военнослужащий отказался от перехода в дру-

гую воинскую часть? Смеют ли и состоящие на гражданской службе отказаться от переводов на другую службу, хотя бы эти переводы и назначения больно задевали их личные и семейные интересы? Почему же это невозможно в Церкви? Если суровая воинская дисциплина совершенно необходима в армии, то она еще более необходима Церкви, имеющей задачи еще более важные, чем задача охраны Отечества военной силой, ибо Церковь имеет задачу охраны и спасения душ человеческих».

Архиепископ Лука стремился привлечь в Крым священнослужителей из других областей страны. Но и здесь ему препятствовали: милиция не прописывала приезжих. Уполномоченный составлял «дела» то на одного, то на другого священника и требовал, чтобы архиерей увольнял неугодных. Владыка Лука до последней возможности защищал достойных пастырей. Какое бы дело ни благословил архиепископ, уполномоченный немедленно аннулировал его. Эта борьба продолжалась годами.

Со скорбью пишет архиепископ Лука Святейшему Патриарху Алексию о положении дел в селах епархии: «По воскресеньям и даже праздничным дням храмы и молитвенные дома почти пустуют. Народ отвык от богослужений и кое-как лишь сохраняется обрядоверие. О венчании браков, об отпевании умерших народ почти забыл. Очень много некрещеных детей. А между тем, по общему мнению священников, никак нельзя говорить о потере веры в народе. Причина отчуждения людей от Церкви, от богослужений и проповедей лежит в том, что верующие лишены возможности посещать богослужения, ибо в воскресные дни и даже в великие праздники в часы богослужений их принуждают исполнять колхозные работы или отвлекают от церкви приказом привести скот для ветеринарного осмотра, устройством так называемых «воскресников»... Это бедственное положение Церкви может быть изменено только решительными мероприятиями Центрального Правительства».

Известно, что со стороны Святейшего Патриарха Алексия в отношении к архиепископу Луке встречалась некоторая настороженность. Тем не менее, Владыка Лука всегда с полным послушанием относился к высшей церковной власти. «Патриарха надо не осуждать, а жалеть», — пишет он в письме. И в одной из своих проповедей архиепископ Лука пламенно убеждает паству всегда иметь глубокое уважение к Святейшему Патриарху, помнить о великих трудах и страданиях, выпадающих на его долю.

В 1948 году Православная Церковь отмечала пятисотлетие своей автокефалии, но архиепископ Лука не был приглашен в Москву. Он писал: «На очень важный съезд представителей всех Православных Церквей было приглашено много епархиальных архиереев, но не я. Это окончательно доказывает, что велено (КГБ — ред.) держать меня под спудом». Когда Владыке Луке было отказано в переводе в Одессу вместо Крыма, он писал, что Святейший Алексий «не властен», «после моего одиннадцатилетнего анамнеза мое место только в захолустье».

Сохранилось еще такое свидетельство близких архиепископа Луки о его смирении и нестяжании. В 1951 году Владыка ездил в Одессу, где Святейший Патриарх отдыхал на своей даче. София Сергеевна Белецкая писала дочери Владыки: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса и очень старый, из дешевой материи, подрясник. И то, и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа — такой замечательный — хуже всех, просто обидно...»

В это время Владыка Лука все меньше занимается врачебной деятельностью. «Угасает моя хирургия, и встают большие церковные задачи», — писал он старшему сыну. В другом письме он говорил: «Хирургия несовместима с архиерейским служением, так как и то, и другое требует всего человека, всей энергии, всего времени, и Патриарх пишет, что мне надо оставить хирургию».

Еще незадолго до отъезда из Тамбова Владыка Лука писал: «Мое сердце плохо, и все исследовавшие его профессора и врачи считают совершенно необходимым для меня оставить активную хирургию».

Когда архиепископ Лука переехал в Крым, директор Симферопольского медицинского института и его Ученый совет почли за лучшее сделать вид, что о его приезде им ничего не известно. Студенты-медики, встречавшие архиепископа Луку в Симферополе с цветами, были за это наказаны.

В начале 1947 года Владыка писал сыну: «Мои доклады в Хирургическом обществе и на двух съездах врачей имели огромный успех. В Обществе все вставали, когда я входил. Это, конечно, многим не нравилось. Началась обструкция. Мне ясно дали понять, что докладов в своем архиерейском виде я больше делать не должен. В Алуште мой доклад (по просьбе врачей!) сорвали...

Я дал согласие два раза в месяц читать лекции по гнойной хирургии и руководить работой врачей в хирургических амбулаториях. И это сорвали. Тогда я совсем перестал бывать в Хирургическом обществе».

Однако в то же время Владыка объявил бесплатный врачебный прием, и сотни больных со всего Крыма хлынули на второй этаж архиерейского дома на Госпитальной.

Кроме церковных служб, проповедей, приема больных и административной работы по епархии, в 1949 году Владыка Лука занимался сбором материалов для своей монографии — переработанной диссертации «Регионарная анестезия», которая должна была принести хирургам несомненную пользу.

Симферопольские военные медики направили к архиепископу Луке своего представителя М.Ф.Аверченко с просьбой поделиться с ними своим врачебным опытом. Владыка с радостью согласился консультировать в их госпитале. К приезду консультанта все отделения госпиталя готовили обычно самых тяжелых больных. Но уже в июне 1951 го-

да Владыка Лука писал: «От хирургии я отлучен за свой архиерейский сан, и меня не приглашают даже на консультации. От этого погибают тяжелые гнойные больные...»

Владыка Лука состоял в дружеских отношениях с академиком В.П.Филатовым, глубоко верующим человеком. Филатов принял в свой институт Валентина Войно-Ясенецкого, он же наблюдал за больным глазом архиепископа Луки. Владыка писал сыну Алексею: «Филатов... очень хороший человек, вполне верующий. Я был у него два раза, и он приезжал ко мне в гостиницу прямо-таки для исповеди». И в другом письме: «С Филатовым долго беседовал о его научной работе и душевных делах. Он вполне религиозный человек».

Будни старца-архиепископа были уплотнены до последней степени. День начинался в семь утра. С восьми до одиннадцати длилась ранняя обедня. Владыка Лука ежедневно произносит проповеди. За предельно скромным завтраком секретарь Евгения Павловна Лейкфельд ежедневно читает две главы из Ветхого и две главы из Нового Завета. Потом начинаются дела епархиальные: распоряжения Патриархии, почта, прием духовенства, назначения и перемещения, претензии властей. Канцелярия находится тут же в квартире. Секретарь епархии, пожилой священник о.Виталий, привык к тому, что архиерей требует четких докладов и ясных ответов на вопросы. Решения архиепископ Лука принимает незамедлительно и твердо.

Личный секретарь Владыки Луки Евгения Павловна Лейкфельд — очень близкий ему человек, пожилая интеллигентная женщина, учительница литературы с университетским образованием. С большим трудолюбием ею написаны сотни писем и проповедей, записаны и неоднократно перебелены «Воспоминания» Владыки. За время работы у Владыки она четыре с половиной раза прочитала вслух всю Библию, перечитала несчетное число газет, журналов (некоторые на немецком и французском языках) , богословских трактатов.

Чтение прессы и книг продолжается до обеда. После обеда — отдых. Затем с четырех до пяти — прием больных. Под вечер небольшая прогулка по бульвару вдоль мелководного Салгира. На прогулке Владыку часто сопровождают его внучатые племянники Георгий и Николай. Архиепископ Лука и это время не теряет попусту: рассказывает мальчикам главы Священного Писания. Через много лет Георгий и Николай Сидоркины говорили, что навсегда запомнили эти, преподанные как бы между прочим, уроки. И снова кабинетная работа: Владыка Лука склоняется над проповедями, письмами, хирургическими атласами — до одиннадцати вечера.

Праздничные дни архиерея также очень загружены: «Пишу тебе поздно вечером, вернувшись из Джанкоя (от Симферополя до Джанкоя сто километров) , где служил в день Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия продолжалась (с проповедью) четыре часа и целый час благословлял людей. Устал. Всю ночь не спал», — пишет он Михаилу в 1951 году.

«Не мала и моя работа, особенно теперь, Великим постом. Моя служба длилась пять часов. Очень утомляюсь...» Еще в Тамбове некоторые роптали: «Что у нас, монастырь, что ли?» Но Владыка Лука, как ему это ни было тяжело физически, служил по полному уставу.

Летом из города Владыка переезжал на небольшую частную дачу вблизи Алушты. Но и здесь изо дня в день продолжалась та же рабочая страда. Единственное отличие состояло в том, что на Южном берегу Крыма он позволял себе несколько более долгие прогулки и охотно плавал в море.

Духовным другом и советником архиепископа Луки был архимандрит Тихон (Богославец), которого глубоко почитали по всему Крыму и Украине и к которому приезжали за духовными наставлениями издалека. Архимандрит Тихон был настоятелем Крымского Инкерманского пещерного монастыря, а после его закрытия жил в Симферополе. Сохранились свидетельства о случаях прозорливости о.Тихона.

Архимандрит Тихон скончался в 1950 году. В слове на панихиде в годовщину смерти старца архиепископ Лука говорил: «Я имел счастье в течение более трех первых лет моего управления Крымской епархией иметь его ближайшим другом и самым ценным, дорогим советником. Все его советы в делах церковных, в которых нуждался я, когда возникали одна за другой тяжелые смуты в разных местах нашей епархии, эти советы всегда были не только мудры, они были проникнуты подлинным духом христианским. Он подавал мне такие советы, какие мог подавать только истинный ученик Христов». Память о.Тихона почитают в Крыму до сих пор.

Проповедь архиепископа Луки о Христе была обращена и к его родным. Дочери Елене Владыка писал: «Помните ли ты и Аня (внучка) о своей великой ответственности перед Богом, если вы не заботитесь о том, чтобы научить Ирочку и Катюшу закону Божию и молитвам? Ведь они под страшной опасностью антирелигиозной пропаганды. Я мог бы прислать тебе изданный Патриархией Новый Завет с Псалтирью, если ты и Аня дадите обещание читать их моим правнучкам. Новый Завет мне с трудом удалось достать в четырех экземплярах для всех детей». Владыка Лука свидетельствовал в одной из своих проповедей, что в то время даже некоторые священники не могли достать Библии.

Сыновья Владыки стали известными учеными. Михаил — анатом, доктор медицинских наук, профессор; Валентин занимался офтальмологией и патанатомией, также профессор, доктор медицинских наук. Алексей — один из старших научных сотрудников и один из основателей института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М.Сеченова, доктор биологических наук.

Поздравляя Михаила с днем Ангела, Владыка Лука пишет в телеграмме: «...Мученик Михаил, князь Черниговский, да будет тебе примером верности Христу».

Всегда проповедуя слово Божие, архиепископ Лука не боялся убивающих тело. Когда он произнес свою первую проповедь в Тамбове в феврале 1944 года, прихожане были даже испуганы. Диакон отец Василий Малин рассказывал, что, расходясь в тот вечер из церкви, многие не надеялись когда-либо услышать и увидеть своего архипастыря. Но в то время Владыку не арестовали, хотя тамбовское начальство несколько раз выражало проповеднику свое неудовольствие.

В 1948 году симферопольский уполномоченный по делам Православной Церкви донес в Москву, что архиепископ Лука читает в кафедральном соборе серию проповедей антиматериалистического характера.

В середине пятидесятых годов Карпов высказался относительно речей Крымского архиепископа весьма резко. Когда Владыка Лука пожаловался на то, что Журнал Московской Патриархии не публикует его проповедей, председатель Совета по делам Церкви ответил: «Вы там у себя в симферопольском соборе мутите воду, ну и мутите. А на международную арену мы Вас не выпустим».

Смелые проповеди и поступки архиепископа, которые пугали неверующих медиков, будили опасения в крымском обкоме, привлекали вместе с тем к Владыке сердца множества людей. С любовью и благодарностью говорили о нем верующие и неверующие пациенты. Тайком в храм заходили студенты, учителя, инженеры, библиотекари. Руководитель археологической службы Крыма, профессор Павел Николаевич Шульц, крупный ученый и партизан военных лет, вспоминает, как он с женой приходил в собор послушать проповедь Владыки о взаимоотношениях религии и науки. За это его вызывали в обком, допрашивали, угрожали, лишили заслуженного ордена.

В пятидесятых годах Владыка Лука вместе с Шульцем пытались спасти от разборки стоящую на дороге из Симферополя в Старый Крым церковь XIV века. Власти объявили, что церковь в аварийном состоянии. По просьбе архиепископа археологи осмотрели здание и нашли, что храм может служить еще два-три столетия. Владыка получил заключение специалистов и тут же потребовал, чтобы церковь древних христиан передали христианам нынешним, дабы они могли восстановить в ней церковную службу. Памятник архитектуры, конечно, тут же разобрали на кирпичи, профессору же Шульцу история эта едва не стоила партийного билета, в обкоме на него кричали: «Партиец, а помогаешь мракобесам! Сопротивляешься антирелигиозной пропаганде?!»

В начале 1951 года архиепископ Лука, находившийся по делам в Москве, прилетел самолетом в Симферополь. В результате какого-то недоразумения на аэродроме никто его не встретил. Полуслепой Владыка растерянно стоял перед зданием аэропорта, не зная, как добраться до дома. Горожане узнали его, помогли сесть в автобус. Но самое удивительное произошло, когда архиепископ Лука собрался выходить на своей остановке. По просьбе пассажиров

шофер свернул с маршрута и, проехав три лишних квартала, остановил автобус у самого крыльца дома на Госпитальной. Владыка вышел из автобуса под аплодисменты тех, кто едва ли часто ходил в храм.

Владыку Луку почитали даже иноверцы, в частности, евреи, как это бывало в жизни святых и праведных людей. По большим церковным праздникам православного архиепископа-врача приходил поздравить староста симферопольской синагоги, которого Владыка Лука когда-то спас от смерти. За православного архипастыря даже молились в синагоге, особенно, когда узнавали, что он болен. Владыка Лука писал сыну в 1957 году, что получил поздравления «от Патриархов Московского и Грузинского, от тридцати архиереев и от еврейской общины, которая почитает меня за доброе отношение к евреям».

Владыка Лука стал окончательно терять зрение. Здоровый глаз стал видеть плохо еще в Тамбове. Осенью 1947 года архиепископу пришлось поехать в Одессу к Филатову. Знаменитый окулист долго осматривал Владыку и сказал, что до слепоты еще далеко. «Филатов нашел у меня помутнение хрусталика, которое будет прогрессировать медленно, и способность читать сохранится на несколько лет (от трех до десяти)», — сообщал Владыка Лука.

И действительно, четыре года спустя архиепископ Лука все еще мог, хотя и с трудом, читать и писать. Весной 1952 года, не рассчитав своих сил, Владыка снова провел несколько недель, как всегда с утра до вечера, в московских медицинских библиотеках. Он переутомил глаз, и зрение стало падать буквально по неделям. Исчезло ощущение цвета, предметы обратились в тени. Теперь на приеме профессору приходилось спрашивать у секретаря, какого цвета у больного опухоль, как выглядят у пациента кожные и слизистые покровы. В конце концов Владыка отказался и от приема больных и от подготовки второго издания «Регионарной анестезии».

Осенью 1952 года профессор Филатов, состоявший с Владыкой Лукой в переписке, предложил ему предварительную операцию — иридэктомию. Владыка не согласился, поскольку у него, как у диабетика, операция могла кончиться нагноением. Близкие ему люди скорбели, сам же архиепископ Лука учился передвигаться по комнате ощупью, ощупью же подписывал бумаги, подготовленные секретарями.

Молодой епископ Михаил Лужский (Чуб), приехавший в Симферополь, чтобы познакомиться с Владыкой Лукой, вспоминает: «Я переступил порог и увидел Владыку, который стоял посредине кабинета. Руки его беспомощно шарили в воздухе: он, очевидно, пытался сыскать затерявшиеся кресло и стол. Я назвал себя и услышал низкий, твердый голос, который совершенно не согласовывался с позой хозяина дома: «Здравствуйте, Владыка. Я слышу Ваш голос, но не вижу Вас. Подойдите, пожалуйста». Мы обнялись. Завязалась беседа. Его интересовала и моя служба, и где я учился, кто были мои учителя. Во время разговора он встал и включил огромную мощную лампу позади часов с прозрачным циферблатом. Явно напрягаясь, сам разглядел время. Я и потом замечал: все, что только мог, он

делал сам. Слепота не подорвала его волю и не разрушила яркости восприятия: когда я спросил, видит ли он сны, Владыка ответил: «О, еще какие! В цвете!»

В день Ангела Владыки Луки епископ Михаил присутствовал на торжественном молебне. Он вспоминает, что в храме священники водили архиерея под руки, а когда кончился молебен и торжественные речи, он, как будто прозрев, вышел на паперть самостоятельно. У выхода его ждала толпа людей с цветами: «Дорогой наш доктор...» Владыка стоял, улыбаясь, среди недавних пациентов, благословляя этих своих детей, как и тех, что находились в храме.

В 1954 году, после июльского Постановления ЦК КПСС «Об улучшении научно-атеистической пропаганды», началась новая волна гонений на Церковь Христову. Травля и аресты верующих, публичные оскорбления священников, закрытие храмов, разгон «общественностью» церковных праздников, напомнили людям старшего поколения события 20-х—30-х годов.

Есть свидетельства, что преследовались люди, состоявшие в переписке с Владыкой Лукой. Инженер И.Я.Борисов был вызван в Тамбовское КГБ по поводу переписки его жены с Крымским архиепископом Лукой. Переписка касалась сугубо религиозных и личных вопросов, но инженеру сказали, что, если его жена Софья Ивановна не прекратит переписываться с церковником, то его выгонят с тамбовского котельно-механического завода, и нигде в Тамбове он себе работы не найдет. И детей его, студентов, выгонят из институтов. Илья Яковлевич разглядел на столе следователя толстый том: «Дело Войно-Ясенецкого», а в нем — копии писем Владыки в Тамбов и писем Софьи Ивановны в Симферополь.

А в Симферополе, где тоже вскрывали письма архиерея и подслушивали его телефонные разговоры, после июльского Постановления ЦК возникла новая должность: городской церковный фотограф. Этот человек каждый день обходил храмы и фотографировал прихожан в лицо. Слабые духом, боясь преследований, переставали появляться в церквах, а кто потверже — попадал в досье соответствующих органов на случай новых расследований. В декабре 1954 года в Симферополе проходил съезд священников Крымской епархии. Архиепископ Лука выступал с докладом, в котором указал, что из пятидесяти восьми церквей осталось в Крыму сорок девять (остальные были закрыты уполномоченным) и что в опасности еще два храма. Владыка Лука открыто говорил о том, что пропаганда, тайные и явные формы нажима на верующих делают свое дело — храмы пустеют. Девятый пункт повестки дня так и был сформулирован: «Как отразилась антицерковная пропаганда на количестве молящихся в церкви». О Постановлении ЦК КПСС и выступлении Хрущева в газетах архиепископ сказал кратко: «Я не счел нужным опровергать эти выступления в печати. Я ограничился одной проповедью на тему: «Не бойся, малое стадо». Даже через два десятиле-

тия симферопольские жители все еще помнили об этой проповеди в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1954 году:

«...Знаю я, что большинство из вас очень встревожены внезапным усилением антирелигиозной пропаганды и скорбите вы... Не тревожьтесь, не тревожьтесь! Это вас не касается.

Скажите, пожалуйста, помните ли вы слова Христовы из Евангелия от Луки: Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство (Лк.12;32). О малом стаде Своем Господь наш Иисус Христос не раз говорил. Его малое стадо имело начало в Его апостолах святых. А потом оно все умножалось, умножалось... Атеизм стал распространяться во всех странах, и прежде всего во Франции позже, уже в начале восемнадцатого века. Но везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, сохраняется оно и доныне. Вы, вы, все вы, слушающие меня — это малое стадо.

И знайте, и верьте, что малое стадо Христово непобедимо, с ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христовы: Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Так что же, если даже врата адовы не одолеют Церкви Его, малое стадо Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть?! Незачем, незачем! Малое стадо Христово, подлинное стадо Христово не уязвимо ни для какой пропаганды».

Так говорил архиепископ Лука спустя неполных четыре месяца после того, как глава государства провозгласил необходимость окончательно покончить с Церковью. Говорил не тайно, открыто — в храме. И многих тогда успокоил, многих укрепил.

В начале 1955 года Владыка полностью ослеп. Вскоре после этого в Крым приехал ближайший ученик Филатова — доцент Шевелев. Владыка Лука писал родным: «Твердо верю, что Господь возвратит мне зрение...» Однако офтальмолог опоздал, по крайней мере, на два года. «Шевелев нашел у меня далеко зашедшую глаукому. Операция, которую он назвал рискованной и очень рискованной, в лучшем случае могла бы дать мне очень малое зрение, но никак не способность читать».

Задолго до потери зрения архиепископ Лука писал: «Князь Василий Темный сказал ослепившему его: «Ты дал мне средство к покаянию». После того, как Владыка потерял зрение, никто не слыхал от него жалоб или ропота. «Я принял как Божию волю быть мне слепым до смерти, и принял спокойно, даже с благодарностью Богу»; «Свою слепоту переношу благодушно и с полной преданностью воле Божией», — пишет он.

Год спустя архиепископ Лука писал Алексею: «Слепота, конечно, очень тяжела, но для меня, окруженного любящими людьми, она несравненно легче, чем для несчастных одиноких слепых, которым никто не помогает. Для моей архиерейской деятельности слепота не представляет полного препятствия, и думаю, что буду служить до смерти».

Подражая святым архипастырям, Владыка Лука неустанно заботится о стаде своем. Как и прежде, в пятидесятые годы распоряжения архиепископа Луки по епархии обличают нерадение и равнодушие, корыстолюбие и непослушание. Вскоре после Постановления ЦК КПСС Владыка наказывает ряд священников, предпочитающих «облегченный вариант» Крещения. Он вызывает в Симферополь одного священника за другим, чтобы лично проверить, не совершают ли пастыри ошибок в богослужении. Ошибок много, и Владыка Лука объявляет об этом в послании.

В «Увещании всем священникам Крымской епархии» 1955 года архиепископ пишет: «С большой скорбью слышу и узнаю, что многие священники служат только в Великие праздники и в воскресные дни. Служение по субботним дням очень важно. Священники, не желающие служить в те дни, когда по уставу положены полиелейные и субботние службы, обыкновенно отговариваются тем, что эти службы требуют лишнего расхода на свечи, масло, вино, и особенно тем, что нет молящихся в церкви...»

Новые скорби встречали архиепископа, продолжалась тяжелая борьба с уполномоченным по делам Церкви за храмы. Был сфабрикован «инженерный» протокол для закрытия собора в Евпатории: здание в опасности, к эксплуатации не пригодно. Посланная уполномоченным бригада рабочих окопала фундамент чуть ли не до основания, и будто бы было найдено какое-то повреждение. Владыка Лука стал протестовать, телеграфировал в Патриархию. Приехали два инженера, обследовали собор, составили новый акт: фундамент был совершенно целым и надежным. Тем не менее, уполномоченный закрыл собор, местные власти спешно снесли купола и поместили в «опасном» помещении свои конторы и склады.

Подобные беззакония происходили часто. Владыка Лука посылал своего секретаря к уполномоченному с протестом, но тот не желал разговаривать. Архиепископ направил жалобу в Совет по делам Русской Православной Церкви, а Карпов командировал в Симферополь «комиссию», состоявшую из двух близких дружков уполномоченного. Храмы закрывались и по клеветническим доносам на священников и членов причта.

Владыка писал сыну летом 1956 года: «...Церковные дела становятся все тяжелее и тяжелее, закрываются церкви одна за другой, священников не хватает, и число их все уменьшается». Он неоднократно пишет сыну, что «до крайности занят тяжелейшими и неприятнейшими епархиальными делами». «Епархиальные дела становятся все тяжелее, по местам доходит до открытых бунтов против моей архиерейской власти. Трудно мне переносить их в мои восемьдесят два с половиной года. Но уповая на Божию помощь, продолжаю нести тяжкое бремя». «Приехал член

Совета по делам Православной Церкви для проверки заявлений на уполномоченного; ничего хорошего не принес и этот его приезд. Мне стало понятно: жалобы мои дадут мало результатов».

Письмо 1960 года: «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный, злой враг Христовой Церкви, все больше и больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». «Более двух месяцев пришлось мне воевать с исключительно дурным священником... Бунт против архиерейской власти в Джанкое, длящийся уже более года и поощряемый уполномоченным». «У меня гораздо больше сокращающих жизнь переживаний, чем у тебя», — сообщает епископ сыну. Большое письмо Владыки целиком посвящено духовным лицам, «восставшим против архиерейской власти и творившим великие безобразия, беззаконно повинуясь только уполномоченному...»

В трудное время особенно проявлялась любовь к Владыке Луке уважавших его людей. Знаменитый физиолог, ученик и последователь И.П.Павлова, Л.А.Орбели принадлежал к числу ученых, глубоко почитавших Владыку Луку. Алексей Валентинович Войно-Ясенецкий вспоминает: «Мой разговор с Леоном Абгаровичем об отце возник в августе 1958 года. Орбели уже не вставал в это время с постели и умер три месяца спустя. Не берусь воспроизвести весь наш разговор, но помню, что он удивил своей неожиданностью и проникновенностью. Смысл речи Орбели состоял в выражении отцу глубокого уважения, восхищения перед твердостью его убеждений, перед тем, что он всегда оставался врачом телесным и духовным. Твердость, несгибаемость отца особенно должны были импонировать Леону Абгаровичу, так как он сам в годы разгрома физиологической науки не отказался от своих научных убеждений. [После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, в результате которой три тысячи биологов потеряли работу, а многие и свободу, Сталин решил устроить еще несколько подобных сессий-чисток. Это замышлялось для того, чтобы рассорить, разделить научную интеллигенцию, превратить исследовательские учреждения в гнезда злобы, зависти, тщеславия и националистической вражды.

В январе 1950 года началась очередная страшная политическая игра в науке: состоялась Объединенная сессия Медицинской и большой Академий, на которой был объявлен бой «за торжество физиологического учения академика Павлова». Часть учеников великого физиолога — академик Орбели и его школа, обвинялись в искажении, недопонимании, принижении учения Павлова. На этой сессии Орбели получил ту болезнь сердца, которая впоследствии свела его в могилу. «Низкая травля Орбели так возмутила меня, что я написал ему сегодня письмо», — сообщал Владыка Лука сыну Алексею после Павловской сессии.] Даже тогда, когда за два месяца до смерти Сталина началась подготовка научной общественности к объявлению Орбели «врагом народа» и его аресту, он мужественно ожидал этого».

Владыка Лука написал Л.А.Орбели: «Я очень тронут тем, что в долгом разговоре обо мне с моим сыном Алексеем Вы просили его передать мне Ваш низкий поклон как ученому и человеку... Вы знаете, конечно, как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды, и как много страданий причинила она мне и доныне причиняет... Я очень высоко ценю Вас как весьма выдающегося ученого и смелого борца против недостойных прихлебателей славы великого физиолога Павлова.

Да продлит Господь Бог Вашу светлую и высоко полезную жизнь и да облегчит великую тяжесть работы Вашего больного сердца. Об этом буду молить Его в молитвах своих.

Архиепископ Лука 5 сентября 1958 г.»

В годы управления Крымской епархией Высокопреосвященный Лука произнес большую часть своих проповедей. Он начал проповедовать еще в Ташкенте, но по причине ареста и ссылки многие годы вынужден был молчать. Но с весны 1943 года, когда в Красноярске открылся храм, и до конца жизни архиепископ Лука проповедовал неустанно: писал проповеди, произносил их, печатал, правил, рассылал листки с текстом по городам страны. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», — сказал он в Симферопольском соборе 31 октября 1952 года.

За тридцать восемь лет священства Владыка Лука произнес тысячу двести пятьдесят проповедей, из которых не менее семисот пятидесяти были записаны и составили двенадцать толстых томов машинописи (около четырех тысяч пятисот страниц). Совет Московской Духовной Академии назвал это собрание проповедей «исключительным явлением в современной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным членом Академии.

Архиепископ Куйбышевский Мануил писал, что проповеди Владыки «Отличаются простотой, искренностью, непосредственностью и самобытностью». Рассматривая отрывок из его «Слова в Великий Пяток» он говорит: «На эту тему так много говорили в течение тысячи девятисот лет лучшие христианские проповедники, что, кажется, ничего нового сказать уже нельзя. И все-таки слова архиепископа Луки трогают, как что-то неожиданное: «Господь первый взял Крест, самый страшный Крест, и вслед на Ним взяли на рамена свои кресты меньшие, но часто тоже страшные кресты, бесчисленные мученики Христовы... Неужели мы не возьмем на себя кресты свои и не пойдем за Христом?» Если припомнить, что эти слова были сказаны весной 1946 года, когда уже приближалась слепота и архиепископ Лука был вынужден оставить хирургию, его смиренная готовность принять на себя новый тяжелый крест приобретает особенный смысл.

Протоиерей Александр Ветелев, профессор гомилетики Московской Духовной Академии, знавший Владыку Луку и состоявший с ним в переписке, считал его проповеди «сокровищницей изъяснения Священного Писания». «Каждая

его проповедь дышала «духом и силой», приближаясь к благовестию апостольскому и святоотеческому и по силе искреннего, сердечного чувства, и по духу пастырской душепопечительности, и по простоте и доходчивости содержания и изложения» — писал отец Александр [«ЖМП», 1961, №8, с.37].

Однако апологетический труд архиепископа Луки «Дух. Душа. Тело», несомненно, представляющий интерес с точки зрения научной, по мнению многих православных богословов, с точки зрения догматической является спорным.

В годы управления Тамбовской и Крымской епархиями, как вспоминает Н.П.Пузин, архиепископ Лука иногда приезжал в Москву и служил в разных храмах: «Он очень любил проповедовать и считал проповедь самым важным делом в своем архиерейском служении. Мне пришлось несколько раз бывать у него в гостинице «Москва», где он останавливался, и присутствовать при совершаемых им богослужениях в разных храмах столицы... Я счастлив, что мне было предназначено судьбой встречаться с этим удивительным человеком», — писал Н.П.Пузин.

В последние годы своей жизни Владыка Лука стал сильно уставать от служб, проповедей, епархиальных дел. В это время в жизни Русской Церкви происходили печальные, трагические события, которые глубоко волновали старца-архиепископа.

1960-й год начался в стране новой волной гонений на Церковь. Последовало Постановление ЦК КПСС, в котором говорилось: «Руководители некоторых партийных организаций не ведут настойчивой борьбы против чуждой идеологии, не дают должного отпора... идеалистической религиозной идеологии...» В печати появились бесчисленные антирелигиозные статьи, брошюры и монографии.

В марте 1960 года Совет по делам Православной Церкви представил Св. Синоду проект церковно-приходской реформы, в результате которой епископы и приходские священники лишались всякой власти. Уже после кончины Владыки Луки, 18 июля 1961 года, состоялся Собор, на котором было проведено изменение Церковного положения.

Вот что писал Владыка незадолго до смерти своей духовной дочери: «Я всецело захвачен и угнетен крайне важными событиями в Церкви Русской, отнимающими у всех архиереев значительную часть их прав. Отныне подлинными хозяевами церкви будут только церковные советы и двадцатки, конечно, в союзе с уполномоченными. Высшее и среднее духовенство останутся только наемными исполнителями богослужений, лишенными большей части власти в распоряжении церковными зданиями, имуществом и деньгами. Вы понимаете, конечно, что я не могу сейчас думать ни о чем другом...»

Приближалась кончина архиепископа, он стал бледным, отказывался от пищи, тяжелые душевные переживания сказывались на состоянии Владыки. Е.П.Лейкфельд вспоминала: «Его несказанно мучил своими действиями против Церкви, постоянно неправильными, уполномоченный, человек жестокий и совершенно беспринципный». «Послед-

нюю свою Литургию совершил на Рождество, последнюю проповедь произнес в Прощеное воскресенье. Проповеднического долга не оставлял до последней минуты, видимо, много молился...» — писала Е.П.Лейкфельд.

Утром 11 июня 1961 года, в воскресенье, когда празднуется память всех святых, в земле Российской просиявших, архиепископ Лука скончался.

«Не роптал, не жаловался. Распоряжений не давал. Ушел от нас утром без четверти семь. Подышал немного напряженно, потом вздохнул два раза и еще едва заметно — и все...» — писала Евгения Павловна сестре Владыки В.Ф.Дзенькович.

«Жизнь его угасла в преклонном возрасте, после продолжительной болезни, исподволь подточившей его физические силы и подготовившей дух его к непостыдной, мирной христианской кончине, — писал в Некрологе Журнала Московской Патриархии прот.Александр Ветелев. — Кончина Преосвященного Луки потрясла не только его паству, но и всех, его знавших. Особенно велика утрата для его паствы. Ведь он пас стадо Божие, какое было у него, надзирая за ним, не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду (1Петр.5;2—3)».

Е.П.Лейкфельд пишет: «Панихиды следовали одна за другой, дом до отказа наполнился народом, люди заполнили весь двор, внизу стояла громадная очередь. Первую ночь Владыка лежал дома, вторую — в Благовещенской церкви, а третью — в соборе. Все время звучало Евангелие, прерывавшееся панихидами, сменяли друг друга священники, а люди все шли и шли непрерывной вереницей поклониться Владыке... Были люди из разных районов, были приехавшие из далеких мест: из Мелитополя, Геническа, Скадовска, Херсона. Одни люди сменялись другими, снова лились тихие слезы, что нет теперь молитвенника, что «ушел наш святой». И тут же вспоминали о том, что сказал Владыка, как вылечил, как утешил...»

Перестало биться сердце, горевшее пламенной и деятельной любовью к Богу и к людям. По всему Крыму говорили о кончине архиепископа. Передавали подробности о его строгой жизни, добрых делах, высоких нравственных требованиях его к верующим и духовенству. Даже люди, далекие от Церкви, понимали: ушла из жизни личность незаурядная. Понимали это и в Крымском обкоме партии, и в областном управлении КГБ, и в облисполкоме. К смерти архиепископа Луки даже готовились заранее. В ночь с 10 на 11 июня, когда областная типография уже начала печатать тираж газеты, последовал приказ поместить в завтрашнем номере большую антирелигиозную статью.

«...Как только отец умер, меня и брата Алексея пригласили в горисполком, — рассказывает Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий. — Нам объяснили, что везти тело по главной улице Симферополя никак нельзя. Хотя путь от собора по главной магистрали близок, но похоронная процессия затруднит городское движение. Поэтому маршрут

для нее проложили по окраинным улицам. Руководство города не пожалело автобусов, предложили тридцать машин, только бы не возникло пешей процессии, только бы мы поскорее доставили отца на кладбище. Мы согласились... Но все вышло иначе».

«Покой этих торжественных дней, — пишет Е.П.Лейкфельд, — нарушался страшным волнением: шли переговоры с уполномоченным, запретившим процессию. Он уверял, что, если разрешить процессию, непременно будет задавлено шесть-семь старушек... И прихожане, и внешние — все страшно возмущались, что запрещена процессия. Один пожилой еврей сказал: «Почему не позволяют почтить этого праведника?»

Архиепископ Михаил (Чуб), приехавший по распоряжению Патриархии на похороны Владыки Луки, также вспоминает о бесконечных спорах и переговорах над гробом Крымского архиепископа. Сначала Владыке Михаилу вообще запретили служить панихиду. После звонка в Москву панихиду разрешили отслужить, но выдвинули свои условия, на которых начальство города позволяет хоронить Владыку Луку. Все сопровождающие должны ехать только в автобусах, ни в коем случае не создавать пешей процессии, ни в коем случае не нести гроб на руках, никакого пения, никакой музыки. Тихо, быстро, незаметно и так, чтобы 13 июня в пять вечера (ни минутой позже) тело архиепископа было в земле. После переговоров в здании горисполкома, его председатель вечером снова приезжал на Госпитальную улицу и снова твердил о ритме городской жизни, который никак нельзя нарушать, о загруженности центральных магистралей и т.д.

Архиепископ Михаил совершил отпевание почившего при огромном стечении верующих и при сослужении почти всего крымского духовенства.

«Я распорядился, чтобы прощание с Владыкой не прекращалось всю ночь, — вспоминает архиепископ Михаил, — и всю ночь к собору шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, кто пришли прощаться, как будто не замечали духоты. Народ теснился в соборе и вокруг него круглые сутки. В полдень тринадцатого, когда мы обнесли тело покойного Владыки вокруг собора, у входа уже стоял автокатафалк, за ним машина, доверху наполненная венками, потом легковая машина для архиепископа, автобусы с родственниками, духовенством, певчими. Оставалось еще несколько машин для мирян, желающих участвовать в проводах, но в эти автобусы никто садиться не хотел. Люди тесным кольцом окружили катафалк, вцепились в него руками, будто не желая отпускать своего архиерея. Машины долго не могли двинуться со двора. Запаренный, охрипший уполномоченный бегал от машины к машине, загонял в автобусы, уговаривал «лишних и посторонних» отойти в сторону, не мешать. Его никто не слушал. Наконец, кое-как с места сдвинулись. По узким улочкам Симферополя катафалк и автобусы могли идти со скоростью, с которой шли пожилые женщины. Три километра от собора до кладбища мы ехали около трех часов...»

Анна Дмитриевна Стадник, регент хора Свято-Троицкого кафедрального собора г.Симферополя, рассказывает: «Когда Владыка сильно заболел, уже к смерти, он сказал своей племяннице: «Дадут ли мне спеть «Святый Боже»? «И, действительно, когда он умер, власти города Симферополя страшно вооружились против того, чтобы была какая-либо торжественная процессия. В соборе... люди шли день и ночь и прощались с ним, день и ночь читалось священниками Евангелие. Наступил день похорон. Мы видели, как алтарь наполнился людьми, они о чем-то говорили со священниками, что-то приказывали, чего-то требовали. Мы чувствовали душой, что что-то готовится.

И вот настал час выноса тела из церкви. При пении «Святый Боже» мы все пошли к воротам. Около них, слева, стоял большой пустой автобус. И, когда мы вышли из ворот, и катафалк остановился, этот автобус тронулся с места и поехал, пересекая наш путь. Он хотел совершенно отрезать нас от катафалка таким образом, чтобы тот поехал, а люди остались позади, для того, чтобы не было торжественных проводов Владыки, архиепископа Луки. И я тогда крикнула: «Люди, не бойтесь!» Женщины закричали от страха, — ведь автобус же идет на них. Я говорю: «Не бойтесь, люди, он нас не задавит, они не пойдут на это, — хватайтесь за борт!» И тогда ухватились все люди, сколько можно было, облепили весь катафалк и пошли за ним.

Прошли, может быть, метров сто; надо было поворачивать на центральную улицу, но власти не хотели, чтобы мы шли так, хотели от нас снова оторваться и повезти тело вокруг города, так чтобы не было никаких почестей почившему. Тут женщины — никто никакой команды не давал — сами ринулись на землю перед колесами машины и сказали: «Только по нашим головам проедете туда, куда вы хотите». Тогда они нам пообещали, что поедут так, как мы этого хотим. И мы поехали по центральной улице города.

Это было такое шествие! Людей было везде полно, улицы забиты, прекратилось абсолютно все движение. По этой улице можно пройти за двадцать минут, но мы шли три с половиной часа, и на деревьях люди были, на балконах, на крышах домов. Это было что-то такое, чего никогда в Симферополе и до того не было, и после уже, вероятно, никогда не будет, — таких похорон, таких почестей!»

Фармацевт Оверченко вспоминает: «Это была настоящая демонстрация. Казалось, весь город присутствовал на похоронах: помню заполненные людьми балконы, людей на крышах, на деревьях...»

И еще вспоминает Е.П.Лейкфельд: «...Улицу заполнили женщины в белых платочках. Медленно шаг за шагом шли они впереди машины с телом Владыки; очень старые тоже не отставали. Три ряда протянутых рук будто вели эту машину. И до самого кладбища посыпали путь розами. И до самого кладбища неустанно звучало над толпой белых платочков: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас...» Что ни говорили этой толпе, как ни пытались заставить ее замолчать, ответ был один: «Мы хороним нашего архиепископа».

Владыка Лука духовно окормлял Крымскую епархию более пятнадцати лет. Почитание его не прекращается и до сего времени. На могилу архиепископа Луки возле храма Всех святых часто приходят помолиться, приносят цветы, зажигают свечи. Многие имеют большую веру к почившему архипастырю: известны даже случаи исцеления на его могиле. Последний такой случай произошел 24 июня 1995 года: у одной женщины срослись два сломанных ребра.

По Промыслу Божию бывший при жизни духовно близким Владыке Луке человеком архимандрит Тихон и по смерти почивает рядом с ним: их могилы находятся совсем близко. Вместе с о.Тихоном погребен архиепископ Гурий (Карпов) (1815—1882 гг.), также глубоко почитаемый в Крыму архипастырь, канонизация которого ныне готовится. Когда тело Владыки Гурия переносили на Всехсвятское кладбище, оказалось, что оно нетленно, и произошло следующее чудо: из поврежденной при перенесении руки потекла кровь. Известны многие случаи исцеления по молитвам архиепископа Гурия.

Как рассказывают священники, прихожане крымских храмов всегда вносят имена Владыки Гурия, архимандрита Тихона и Владыки Луки в записочки, подаваемые на проскомидию, и в свои синодики; во всех храмах молятся о упокоении душ почивших праведников.

В некрологе, помещенном в «Журнале Московской Патриархии» (1961, №8), Русская Церковь так почтила память архиепископа Луки: «До конца дней своих он сохранил живую, отзывчивую, обаятельную душу, нежно любящую людей... И вот время отшествия его наступило. Он ушел от нас, чтобы предстать пред Господом и дать ответ за себя и за свою многочисленную паству. Живя на земле, он подвигом добрым, подвизался, течение совершил, веру сохранил (IITим.4;7). Теперь же на небе, дерзаем надеяться, Господь уготовал ему венец правды... как возлюбившему явление Его (IITим.4;8)».

В одной из своих проповедей архипастырь говорил: Вы спросите: «Господи, Господи! Разве легко быть гонимыми? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем?» Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко ли иго Христово? А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест.

Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое было это бремя, но вспоминаю о нем, как

о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Именно потому, что бремя Христово не раздельно с благодатью Христовой, именно потому, что Христос того, кто взял крест и пошел за Ним, не оставит одного, не оставит без Своей помощи, а идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею благодатью.

Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго Мое благо и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него зовет Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе — и увидите самого Господа Иисуса Христа, Который идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше. Аминь».

(Проповедь 28 января 1951 г. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные».)

Конец и Богу слава.]

* * *

На этом воспоминания обрываются. Они были продиктованы секретарю Е.П.Лейкфельд полностью ослепшим архиепископом Лукой в 1958 году в Симферополе.

Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 года и похоронен в Симферополе, где занимал кафедру в течение пятнадцати лет.

Источник: http://www.pravlib.ru/nravstven19.htm#11